





# Вадим КОЖЕВНИКОВ



## ЩИТ И МЕЧ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ  
В ОДНОМ ТОМЕ



Издательство  
АЛЬФА-КНИГА  
Москва  
2013

УДК 821.161.1  
ББК 84.(Рус)6-5  
К58

Серия основана  
в 2007 году

**Кожевников В. М.**

К58 Шит и меч. Полное издание в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013. — 823 с.: ил. — (Полное издание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-1521-2

«Шит и меч» — культовый советский роман о работе нашего разведчика в глубоком тылу врага во время Великой Отечественной войны.

**УДК 821.161.1**  
**ББК 84.(Рус)6-5**

ISBN 978-5-9922-1521-2

© В. М. Кожевников. Наследники, 2013  
© Художественное оформление,  
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013

Летом 1940 года в Риге был убит советский гражданин, по национальности немец.

Сотрудники латвийского уголовного розыска установили: убийство совершено из огнестрельного оружия особого вида, заряжающегося ампулами цианистого калия, при разрыве которых возникают концентрированные пары, мгновенно и бесшумно убивающие жертву.

Хотя у погибшего были похищены различные ценности: обручальное кольцо, часы, бумажник, — однако часть этих вещей удалось обнаружить в свертке, брошенном в канализационный колодец, что исключило версию об убийстве с целью грабежа.

Скорее можно было предполагать организованную террористическую акцию.

Убит был крупный специалист в области радиотехники — инженер Рудольф Шварцкопф.

Его сын Генрих Шварцкопф, студент Рижского политехнического института, потрясенный смертью отца, не дал никаких показаний.

В уголовный розыск был вызван Иоганн Вайс, слесарь-механик из авторемонтной мастерской, принадлежащей Фридриху Кунцу.

По имеющимся сведениям, Иоганн Вайс в день убийства длительное время находился в квартире Шварцкопфа, где монтировал какие-то приборы, заказанные инженером. Кроме того, Вайс состоял в дружественных отношениях с сыном Шварцкопфа, который увлекался мотоциклетными гонками, и Вайс, будучи хорошим механиком, внес полезные усовершенствования в принадлежащий Генриху Шварцкопфу мотоцикл фирмы «Цундап», чем помог тому выиграть недавно состязания на кубок. Было известно, что Иоганн Вайс аккуратно посещает собрания «Немецко-балтийского народного объединения» и бесплатно отремонтировал автомашину крейслейтера<sup>1</sup> этого «объединения» адвоката Себастьяна Функа, у которого он в свободное время работал шофером.

На допросе Иоганн Вайс вел себя крайне сдержанно, отвечал на вопросы уклончиво. А когда молодой сотрудник латвийского уголовного розыска в раздражении упрекнул Вайса, что тот не желает

---

<sup>1</sup> Районного руководителя (нем.).

помочь следствию, хотя убит его соотечественник, Иоганн Вайс ответил, что не видит ничего удивительного в том, что убит именно его соотечественник. Ведь латыши относятся сейчас к немцам крайне недружелюбно.

Эти слова возмутили следователя. И он стал упрекать Вайса: как, мол, ему, молодому рабочему, не стыдно говорить подобные вещи. Разве Вайс не понимает, что именно теперь, как никогда, чувство пролетарской солидарности должно объединять всех рабочих, независимо от их национальности?

Вайс слушал серьезно, внимательно, но по его холодному, спокойному лицу нельзя было понять, как он воспринимает то, что говорит ему следователь — тоже молодой рабочий, только недавно ставший сотрудником уголовного розыска. Сюда его направила партийная организация стекольного завода, хотя к новой профессии он не имел ни призвания, ни способностей. Об этом сотрудник вгорячах тоже сказал Вайсу, но не вызвал у того никакого сочувствия.

Из уголовного розыска Вайс пошел в кафе, где заказал пиво, сосиски и неторопливо позавтракал. И столь же неторопливо отправился на остановку, пропустил один трамвай, сел только в следующий и всю дорогу меланхолично глядел в окно. Не доезжая остановки до дома, где жил крейслейтер «Немецко-балтийского народного объединения» адвокат Себастьян Функ, вышел и поспешно, чуть ли не бегом устремился вперед.

Себастьян Функ, упитанный, широкоплечий, почти квадратный человек с тугим животом и тяжело обвисшими щеками, нетерпеливо топтался возле подъезда своего дома. Когда Вайс подал к парадному старомодный «адлер», Функ с трудом влез на переднее сиденье и сердито спросил:

— Почему я должен ждать машину, а не машина меня?

Вайс кротко ответил:

— Извините, господин Функ, но у меня большие неприятности.

— Какие еще могут быть у тебя неприятности? — брезгливо буркнул Функ и пообещал: — Это я тебе сегодня сделаю неприятность. — Но все-таки, смилостивившись, осведомился: — Ну, что у тебя там такое?..

По мере того как Вайс подробно рассказывал, о чем его допрашивали в уголовном розыске, лицо Функа приобретало все более благодушное выражение. Он похлопал шофера по плечу:

— Это ничего, если тебя посадят. Им нужен преступник-немец. Ты немец.

— Но, господин Функ, вы ведь меня знаете. И я бы очень просил вас, если понадобится, быть моим адвокатом.

— Ничего не понадобится, — небрежно сказал Функ. — Ты рабочий, а рабочего они не станут подозревать.

— Ну какой же я рабочий? — горячо возразил Вайс. — Вы же

знаете, я рассчитывал стать фермером. Я не знал, что ферма уже не принадлежит моей тетушке.

— Да, и потому, что ты этого не знал, ты несколько месяцев так трогательно ухаживал за своей больной тетушкой, что вся община говорила о тебе как об исключительно порядочном юноше. Не удивляйся. Я, как крейсleiter, считал своим долгом знать о тебе все, чего даже ты о себе не знаешь.

— Но я же любил свою тетушку, хотя, конечно, сильно огорчился, что не получил наследства.

Функ покачал головой.

— Я полагаю, на кладбище ты плакал в равной мере и о тетушке и о наследстве... — Спросил сухо: — Ты все еще колеблешься — ехать тебе на родину или оставаться с большевиками?

— Господин Функ, — сказал Вайс, — теперь я решил: ехать, и как можно скорее.

— Почему теперь, а не раньше?

— Сегодня в угрозыске я понял, как плохо здесь относятся к немцам. Господин Кунц обещал оставить мне свою мастерскую, чтобы я стал ее фиктивным владельцем. Я думал, что у меня здесь будет больше перспектив, чем на родине. Но мне теперь ясно, мастерскую конфискуют. И я буду вынужден пойти на завод простым рабочим. А я предпочитаю быть солдатом на родине, чем рабочим здесь.

— Вот теперь я слышу голос немецкой крови! — одобрительно закивал головой Функ.

Вечером, когда Вайс, вымыв машину, протирал стекла замшевым лоскутом, в гараже неожиданно появился Функ (раньше он туда никогда не приходил) и спросил:

— Ты собираешься сегодня к сыну Шварцкопфа, чтобы выразить ему соболезнование?

— Его отец всегда хорошо ко мне относился.

— Это я знаю, — сердито сказал Функ, — но не могу понять, почему.

— Я всегда аккуратно выполнял его заказы.

— И еще?

— Я помогал ему в свободное время, ведь он был изобретатель.

— А над чем он работал?

— К сожалению, я недостаточно образован, чтобы понимать, над чем он работал.

— Да, глупая у тебя голова, — изрек Функ. Понизил голос, сказал твердо и веско: — А теперь слушай. Если ты решил уехать на родину, то это вовсе не означает, что ты уедешь туда, потому что мы этого еще не решили. Но мы решим, чтобы ты уехал, если уедет Генрих Шварцкопф. А чтобы он уехал, ему надо знать, что так же собирался поступить его отец.

— А разве он этого не знает?

— До последнего дня не знал. Он не знал, что недавно Рудольф прислал мне письмо... Ты скажешь Генриху, что у меня есть такое письмо.

— А может, лучше просто показать письмо Генриху, ведь он всегда делал то, чего хотел его отец.

Функ поморщился, но тут же, смягчаясь, сказал:

— Я тебе доверяю, Иоганн, доверяю, как своему сыну. Это письмо у меня пропало. И я думаю, его похитили агенты НКВД. И это они убили Рудольфа Шварцкопфа. Он им был нужен как крупный инженер, понимающий толк в технике военной связи. И когда они узнали, что Шварцкопф собирается уехать, убили его. — И произнес высокопарно: — Теперь наш долг — вернуть родине сына Шварцкопфа, дядя которого сейчас большой человек в Германии. Он мечтал прижать к сердцу брата и племянника, и я обещал ему, что по возвращении в Германию Шварцкопфы будут в исключительно привилегированном положении по сравнению со всеми нами. — Спросил: — Ты все понял?

— Да, я скажу Генриху, что буду самым преданным ему человеком, если он согласится в ближайшие дни уехать.

— Это так, но и мне ты тоже кое-чем обязан, — напомнил Функ. — Без моего согласия тебе не выбраться отсюда.

Даже лучший специалист не смог придать умиротворенного выражения искаженному ужасом лицу Рудольфа Шварцкопфа, — в гробу его прикрыли крепом.

Немцы, жившие в Риге, недолюбливали Шварцкопфа за высокомерие, проявляемое к влиятельным соотечественникам, и за слишком демонстративное уважение к профессору Гольдблату.

Дружить с евреем, пусть даже он гений, — ведь это вызов обществу!

Ходили слухи, будто бы Шварцкопф потребовал от сына, чтобы тот просил руки дочери профессора Гольдблата. Правда, поговаривали также, что если соединить работу Гольдблата — ученого-теоретика — с энергичной деятельностью Шварцкопфа в области техники, то это сулит такие патенты, приобретением которых могут заинтересоваться даже великие державы.

Высокий, статный, со строгим лицом и надменными манерами, Рудольф Шварцкопф сумел создать себе репутацию волевой, решительной натуры, но, в сущности, был человеком крайне неуравновешенным, мнительным и болезненно самолюбивым.

Нежелание Шварцкопфа переселяться в Германию объяснялось главным образом тем, что у него там был младший брат, которого он не без основания считал бездарным, тупым пруссаком. Прижитый отцом от горничной еще при жизни жены и впоследствии усыновленный, он теперь стал крупной фигурой в гитлеровском рейхе. И он, несомненно, воспользуется своим положением, чтобы по-сво-



ему отомстить старшему брату за его брезгливо-высокомерное отношение к себе: будет оказывать ему снисходительное покровительство, требуя взамен почтительности к своей матери, бывшей горничной Анни, а ныне вдовствующей госпоже фон Шварцкопф.

Рудольф Шварцкопф знал почти все, что имело отношение к радиотехнике, и почти ничего не знал в других областях человеческой мысли.

К фашизму он относился терпимо, считая, что фашизм выражает слепое отчаяние нации, униженной военным поражением. И победы, которые одержала сейчас Германия в Европе, он объяснял тем, что народы поверженных государств обладают нормальным человеческим мышлением, чуждым идеям исступленной жертвенности во имя мирового господства или любви к отечеству.

Брат Рудольфа, штурмбанфюрер Вилли Шварцкопф, неоднократно писал крейслейтеру Функу, что теперь, когда Латвия стала социалистической, дальнейшее пребывание там Рудольфа может повредить его, Вилли, партийной карьере, и требовал от крейслейтера принятия решительных мер.

Незадолго до убийства Рудольфа Шварцкопфа председатель Совнаркома Латвии посетил инженера и спросил, как тот отнесется к выдвижению его кандидатуры на пост директора научно-исследовательского института.

Шварцкопф сказал, что подумает.

В тот же день к нему без предупреждения явился крейслейтер Функ и с возмущением заявил, что немецкие круги в Риге считают поведение Шварцкопфа предательским по отношению к национальным интересам рейха.

Генрих не придал особого значения чрезвычайной взволнованности отца после этого визита. Раздраженное самолюбие инженера особенно страдало, когда ему напоминали о брате-штурмбанфюрере, проявляющем большую осведомленность о всех его делах и поведении.

Успокоился Шварцкопф только тогда, когда Иоганн Вайс принес заказанные ему приборы, выполненные не только с особой тщательностью, но и с дополнительными техническими усовершенствованиями, которые не были предусмотрены в чертежах.

Иоганн Вайс держал себя у Шварцкопфа непринужденно, но с тем особым тактом, который невольно импонировал инженеру, не терпящему никакой фамильярности.

Вайса отличали сдержанность, готовность услужить, но не было в нем и тени угодливости. Чувствовалось, что он преклоняется перед знаниями своего патрона. Однако его любознательность в области техники не простиралась дальше заказов, которые он выполнял. И когда Шварцкопф увлеченно начинал рассказывать о задуманных работах, Вайс вежливо напоминал, что он недостаточно образован и, к сожалению, ему трудно понять технические идеи, которые развивал перед ним Рудольф Шварцкопф.

С Генрихом Шварцкопфом у Вайса были самые дружеские отношения, но и с отцом и с сыном он держал себя со скромным достоинством человека, отлично сознающего разделяющее их неравенство в положении.

Несмотря на это, Генрих неоднократно уверял, что Иоганн — настоящий друг, и даже ввел его в дом профессора Гольдבלата, дочь которого Берта по воскресеньям собирала у себя молодежь, преимущественно музыкальную. Берта училась в консерватории, но уже давала концерты, и не только в Латвии: года два назад она выступала в Стокгольме и Копенгагене. На музыкальных вечерах Иоганн Вайс скромно сидел где-нибудь в уголке. А перед ужином отправлялся на кухню и помогал кухарке нарезать тонкими ломтиками ветчину для сэндвичей, откупоривал бутылки, колот лед для коктейлей.

Когда Генрих спрашивал Иоганна, какого он мнения о Берте, Вайс говорил:

- Красивая!
- Ну, а еще?
- Талантливая...
- Ну-ну, дальше? — нетерпеливо требовал Генрих.
- И она будет знаменитой.

Генрих мрачнел и говорил, нервно дергая плечом:

— Вот именно. И ей нужен супруг, который будет таскать за ней чемодан, оклеенный этикетками всех отелей мира. И отец требует, чтобы я женился на этой горячке во имя его целей; он хочет сделать профессора сотрудником своей фирмы «Рудольф Шварцкопф».

— Но почему ты считаешь ее горячкой?

— А потому, что она со своим фортепьяно мечтает о личной власти над толпой так же, как мы, немцы, о мировом господстве!

— Ну, это не одно и то же...

Генрих произнес раздраженно:

— Отец, пожалуй, не очень-то симпатизирует фашизму. Он сам хочет прибрать к рукам Гольдבלата, претворить его замыслы в патенты и стать единоличным властелином фирмы, торгующей техническими идеями. И таким способом диктовать свою волю самым крупным мировым концернам.

— Он технократ и фантазер.

— Но он очень талантливый человек. А я?

Вайс заколебался:

— Ты слишком разбрасываешься. И, по-моему, излишне увлекаешься спортом.

— Это помогает ни о чем не думать.

— По-моему, это невозможно — не думать.

— Вот я и стремлюсь к невозможному, — резко закончил разговор Генрих.

Иоганн Вайс последние месяцы всегда сопровождал Генриха на мотодром и на взморье, где Генрих тренировался на мотоботе.

Месяца три назад, когда они однажды вышли в море в плохую погоду, разразился шторм. Сильной волной мотобот перевернуло. Вайс спас Генриха. Но когда Генрих торжественно заявил, что вся Рига узнает о подвиге Иоганна, Вайс попросил Генриха никому об этом не говорить; если появится заметка в газете, владелец автомастерской Фридрих Кунц уволит его с работы, потому что владельцы мастерских, обслуживающих моторные суда, обвинят Кунца в том, что он нарушает коммерческие правила, посылая своего рабочего обслуживать спортивные катера.

Просьбу Иоганна Генрих выполнил. Сдержанность Вайса он считал выражением ограниченности его натуры, чуждой страстей, увлеченности чем-либо возвышенным, а его рассудочность принимал за чисто национальный практицизм, внушенный старонемецкой добропорядочностью, не более.

О своем детстве Вайс рассказывал неохотно, ссылаясь на то, что рано осиротел. Работал он на ферме, принадлежащей эмигрантам из России. Родственную ласку узнал, только поселившись у тетки, которая взяла его к себе, когда к ней пришло одиночество и страх смерти. Эта тетка помогла ему почувствовать себя снова немцем. У нее была хорошая библиотека. И только из книг он узнал кое-что о своей родине, которую он, конечно, любит, но, увы, недостаточно знает. Но лекции в клубе объединения помогли ему более полно узнать то, что он знал лишь поверхностно.

В мотоклубе Вайс бывал только в качестве личного механика Генриха и никогда не переступал черты, отделяющей технического рабочего от истинного спортсмена. Он не отказывался подготовить машину к пробегу, произвести на месте мелкий ремонт, но, закончив работу, каждый раз писал на блокноте счет, отрывая листок, давал его владельцу машины и недовольно хмурился, если с ним затягивали расчет.

Получая сверх положенного, он сдержанно благодарил, но никогда при этом не улыбался.

Со спортсменами держал себя с чопорной вежливостью. И хотя он нравился некоторым девицам в вызывающе обтягивающих фигуру кожаных костюмах, ни одну из них он не соглашался сопровождать в далекие загородные поездки. И когда Генрих, смеясь, спросил, не боится ли он потерять невинность, Иоганн серьезно ответил, что больше всего боится потерять клиентуру мастерской: он только следует правилам поведения, которые ему внушил господин Фридрих Кунц.

Генрих назвал это проявлением рабской психологии.

Иоганн ответил, что настолько дорожит своей службой, что ради нее готов отказаться от многих удовольствий.

Генрих усмехнулся:

— На твоём месте я бы из одного чувства классового протеста

поторжествовал над буржуазией. Тем более — внешние данные для этого у тебя вполне подходящие.

Иоганн пожал плечами и заявил, что, хотя теперь он действительно рабочий, это вовсе не означает, что он останется им навсегда.

— Ну да, — усмехнулся Генрих, — ты рассчитываешь, что, как только переселишься в рейх, перед тобой откроются блестящие перспективы!

— Нет, — сказал Иоганн, — на особо блестящие перспективы я не рассчитываю. Я знаю, что в Германии меня сразу возьмут в солдаты.

— И все-таки хочешь уехать.

— Я не расстался со своими колебаниями, — с грустью признался Иоганн, — но я немец, и долг для меня превышает всего, хотя я и понимаю, что быть солдатом не самая завидная участь.

— Не унывай, старина! — Генрих снисходительно похлопал его по плечу. — Дядя Вилли заочно испытывает ко мне родственные чувства. Он большой человек, и даже если мы с отцом не поедем в Германию, мы дадим или, вернее, я дам тебе письмо к дяде, и он тебя сунет куда-нибудь, где тебе будет потеплее. Можешь быть уверен.

— Я буду за это весьма признателен, — учтиво сказал Вайс, — тебе, твоему отцу и господину Вилли Шварцкопфу.

— Ну, отец-то его недолюбливает, считает плебеем, ревнует к фамильной чести нашего рода. А дядя меня очень зовет, писал, что уже заказал специально для меня гоночную машину в Праге — он там близкий человек к гаулейтеру. Сейчас он снова в Берлине, но писал, что встретит нас с отцом на новой границе новой Германии и что мы даже не подозреваем, как она от нас близка.

— А какого класса машина? — заинтересовался Иоганн.

— В письме дядя подробно описал все ее технические достоинства.

— Мне было бы интересно ознакомиться.

— Пожалуйста, — сказал Генрих и протянул письмо Иоганну.

Вайс спросил:

— Но ты не возражаешь?

— Ну что ты!

Вайс пробежал глазами письмо, воскликнул восхищенно:

— Поздравляю! Это же отличная машина. — И вдруг заторопился, вспомнив, что обещал хозяину выполнить одну срочную работу.

## 2

Иоганн Вайс отправился к Шварцкопфам, надев черный галстук. Домоправительница принимала соболезнующих визитеров в гостиной. Люстра была затянута черным крепом.

Генрих Шварцкопф не выходил из кабинета отца. Но Вайсу домоправительница сказала, что молодой хозяин ждет его. Вайс полагал,

что найдет Генриха убитым отчаянием, и был несколько удивлен, увидев, что тот деловито разбирает бумаги отца и укладывает их в два больших кожаных чемодана. Не подавая Иоганну руки, он сказал:

— Я уезжаю. Дядя сообщил телеграммой, что выедет встречать. — Лицо его было бледным, но не горестным, а скорее каким-то ожесточенным. Спросил вскользь: — Ты готов меня сопровождать?

Вайс кивнул. Потом добавил:

— Если крейслайтер господин Функ оформит мой выезд.

— Функ сделает все, что я ему прикажу, — властно заявил Генрих и злобно добавил: — Дядя писал, что этим типом еще займется гестапо. Функ должен был знать, что агенты НКВД готовят покушение на отца, чтобы помешать ему покинуть Латвию. И не принял мер для его спасения. Я уверен, Функ — советский агент. Он сам признался, что чувствует себя косвенным виновником смерти отца. Красным нужно было запугать немцев, которые решили покинуть Советскую страну. Функ утверждает, что якобы не знал, кого они намечают жертвами.

— И давно у Функа были такие подозрения?

— Какое мне дело, давно или недавно? Важно то, что он сам мне в этом признался. И заплатится за это.

В комнату вошла Берта Гольдблат. Генрих окинул ее взглядом, заметил:

— О! Тебе идет черное!

Девушка, делая вид, что не придает значения этим словам, или действительно пренебрегая ими, осторожно и нежно притронувшись длинными, тонкими пальцами к плечу Генриха, сказала:

— У папы сердечный приступ. Он просит извинить, что не мог навестить тебя. — И, снимая черные перчатки, сообщила: — Мне предложили выступить в Москве с концертной программой, но я отказалась. — Она опустила глаза, как бы объясняя, почему отказалась: — У тебя такое горе, Генрих!..

Генрих дернул плечом.

— Евреи — в Москву! Немцы — в Берлин! — Оглянулся на Вайса, показав глазами на Берту, спросил: — Любуешься, верно? Ей идет черное! Но в Берлине ты не увидишь еврейки, которая носила бы траур по немцу.

Берта гордо вскинула голову.

— В Берлине вы также не увидите немку, которая носила бы траур по евреям, которых там убивают...

— Фашисты, — добавил Вайс.

— Давайте лучше выпьем, — примирительно предложил Генрих и, наливая вино в бокалы, озабоченно сказал: — Я очень огорчен болезнью твоего отца, Берта. Но у меня к нему неотложная просьба, которую он, как честный человек, несомненно бы выполнил. Поэтому я обращаюсь с той же просьбой к тебе. У вас в доме есть неко-

торые бумаги, касающиеся работ моего отца. Я прошу, чтобы мне их вернули, хотелось бы получить их сегодня же.

— Но твой отец работал вместе с моим. Как я могу без помощи папы отличить, какие именно бумаги принадлежат твоему отцу?

— Это тебе посоветовал... Функ? — спросил Вайс у Генриха.

Генрих замялся. Он никогда не лгал. Произнес уклончиво:

— Разве я не могу настаивать, чтобы все, что принадлежало отцу, было возвращено мне, как наследнику?

— А мне кажется, на этом настаивает Функ, — сказал Вайс.

Генрих бросил гневный взгляд на Иоганна, но тот, ничуть не смущаясь, объяснил:

— Господин крейслейтер обязан в какой-то степени заниматься всеми делами здешних немцев — это естественно. — И предложил: — Если хочешь, я помогу фрейлейн Берте разобраться в бумагах. Я хорошо знаю почерк твоего отца, кроме того, он поручал мне незначительные чертежные работы.

— Да, пожалуйста, — согласился Генрих.

Берта вздохнула с облегчением:

— Будет лучше всего, если Иоганн мне поможет.

Раздался телефонный звонок. Вайс снял трубку, подавая ее Генриху, сказал:

— Профессор Гольдблат.

— Да, — сказал Генрих, — я вас слушаю... Да, я разрешил крейслейтеру войти в курс всех дел по наследству. Но послушайте... Да выслушайте меня!.. — Он с растерянным видом повернулся к гостям...

Берта, побледнев, поднялась с кресла. Вайс, с чрезмерным вниманием разглядывая свои новенькие ботинки, пробормотал:

— А мне казалось, что покойный господин Шварцкопф никогда не выражал ни дружеских чувств, ни особого доверия к Функу и был бы очень удивлен, узнав, что тот проявил такую заботу о его работах.

Берта сказала дрожащим, срывающимся голосом:

— Я очень сожалею, Генрих. Очень. Я должна идти. — Холодно кивнула и вышла из комнаты.

— Проводи, — попросил Генрих.

Вайс вышел вслед за Бертой. Она шла молча, быстро.

— Что с ним? — спросила она, не поворачивая головы к Вайсу.

Тот пожал плечами.

— Его окружают сейчас те, кого не очень-то жаловал Рудольф Шварцкопф.

— Но ведь невозможно так сразу стать совсем другим.

— Вы его любите?

— Да, мне нравится Генрих. Но я никогда не была в него влюблена.

— А он?

— Вы знаете его лучше, чем я. Вы извините, но я возьму такси.

Я уверена, у отца обыск. Там какие-то люди из немецкого объединения. Это может убить его.

— А почему бы вам немедленно не обратиться к властям? Ну хотя бы для того, чтобы были свидетели?

— Ну вот вы и будете свидетелем.

— Я не могу, — поспешно сказал Вайс, — господин крейслейтер может помешать моему отъезду, и...

— Вы тоже становитесь коричневым, Вайс. Вы мне неприятны. Я прошу вас оставить меня. — И Берта перешла на другую сторону улицы.

Вайс вернулся к Шварцкопфу.

Генрих спросил:

— Ну?

— Она не ожидала от тебя этого.

— Я спрашиваю не что она, а что ты обо мне думаешь.

Вайс уселся поудобнее в кресле, закурил.

— Ты поступил непрактично. Если бумаги твоего отца представляют ценность, тебе следовало самому взять их у профессора. Отвези их в Германию и там предложишь какой-нибудь фирме.

— О! Ты, я вижу, стал рационально мыслить. И не желаешь замечать, что я вел себя как подлец.

— Я уже говорил, что ты следовал наставлениям Функа, а твой отец его не уважал. Вот и все. Кроме того, я еще не проникся сознанием своего арийского превосходства, чтобы говорить так, как ты с Бертой.

— Ты любишь евреев?

— Влюблен в Берту не я, а ты.

— Мне надоело слушать, что она талантливая, знаменитость! А я...

— Что ты?

— Обыкновенная посредственность.

— Ну, ерунда. Если ты пойдешь по стопам отца, ты займешь надлежащее место в жизни. И в этом тебе мог бы помочь профессор Гольдблат.

— Каким образом?

— Тебе ничего не советовал по этому поводу дядя Вилли?

— Да, он писал... что если Гольдблат согласится уехать в Германию, ему там дадут звание ценного еврея и он сможет в полной безопасности продолжать свою работу. Но под руководством отца.

— Значит, твой дядя будет огорчен, когда узнает, что ты поссорился с дочерью профессора.

— А какое ему дело?

— Ну как же! Ты мог бы содействовать приезду в Германию ценного человека, соблазнив его дочь. И дядя Вилли был бы в восторге от своего племянника.

— Ты что, действительно считаешь меня негодяем?

— Нет, почему же? Если рейху нужен ценный еврей, надо делать то, что нужно рейху.

— Ты как-то странно изменился, Иоганн. Почему?

— Ты тоже. И возможно, оттого, что мы оба начинаем думать так, как полагается думать наци.

— Но это отвратительно — то, что ты мне сейчас говорил.

Вайс пожал плечами.

Генрих задумался. Потом спросил:

— Значит, ты советуешь мне не уезжать отсюда и стать если не зятем, то хотя бы учеником Гольдבלата?

— А что тебе говорил Функ?

— Он требует, чтобы я не медлил с отъездом.

— Тогда что ж, тогда у меня к тебе одна просьба: скажи Функу, что берешь меня с собой.

— Я и не мыслю иначе. Какие могут быть препятствия?

— Но ты так ему скажешь?

— Без тебя я не поеду, — твердо заявил Генрих, — ты сейчас единственный близкий мне человек. — Улыбнувшись, он проговорил: — Я даже не могу понять: ведь знакомы мы всего несколько месяцев, а у меня такое ощущение, будто ты мой лучший друг.

— Благодарю тебя, Генрих, — сказал Иоганн.

Генрих пожал протянутую руку, помедлил и обнял Вайса...

Рано утром, как всегда точно, минута в минуту, Иоганн Вайс подал машину к подъезду.

Функ приказал ехать в гавань.

Последние переселенцы должны были отправиться по железной дороге. Несмотря на это, Функ, пользуясь ранее выданным ему пропуском, каждый день посещал Рижский порт, обходил причалы и просил Вайса фотографировать его на фоне портовых сооружений.

Развалившись на сиденье, Функ заметил одобрительно:

— Аккуратность и точность — отличительная черта немца. Ты был вчера вечером у Генриха Шварцкопфа?

— Да, господин крейслейтер.

— Кто еще там был?

— Дочь профессора.

— Как провели время?

— Берта и Генрих поссорились.

— Причина?

— Генрих дал ей почувствовать свое расовое превосходство.

— Мальчик становится мужчиной. При тебе звонил профессор?

— Да, господин крейслейтер.

— У Генриха испортилось настроение после разговора с профессором?



— Нет, господин крейслейтер, я этого не заметил. Но он был взволнован.

— Чем?

— Разрешите высказать предположение?

Функ кивнул.

— Рудольф Шварцкопф работал под руководством профессора. И сыну Шварцкопфа, возможно, хотелось бы, чтобы некоторые, особенно важные работы его отца, выполненные совместно с профессором, не были потеряны для рейха.

— Генрих растет на глазах, — одобрил Функ. — Не только его, но и нас это тоже беспокоит. Но дочь Гольдблата привела в дом латышей, которые представляют советскую власть, и они не разрешили взять бумаги — описали их и опечатали. Мы обратились с протестом к своему консулу.

— Консул, несомненно, потребует, чтобы все бумаги Шварцкопфа были возвращены наследнику.

— Да, так и будет. Но мы рассчитывали вернуть Генриху и то, что не полностью принадлежало его отцу.

— И теперь ничего нельзя сделать?

— Мы думаем, — со вздохом произнес Функ, — что потеряли эту возможность. — Он взглянул на своего шофера. — Ты мне будешь рассказывать про Генриха все, как сейчас?

— Я это делаю охотно, господин крейслейтер.

— И будешь делать впредь, даже если тебе не захочется. — Он помолчал. — Ты выедешь в Германию вместе с Генрихом. Так мы решили. Ты доволен?

— Да, господин крейслейтер. Я рассчитываю на Генриха, его дядя может помочь мне попасть в тыловую часть. Не очень хотелось бы сразу на фронт.

Функ усмехнулся:

— Ты со мной откровенен. Это хорошо! А то я не мог понять, почему ты так бескорыстно дружишь с Генрихом. Это подозрительно.

В гавани Функ приветствовал служащих порта, поднимая сжатый кулак и произнося при этом:

— Рот фронт!

Но никто не отвечал ему тем же. Рижские портовики хорошо знали, кто такой Функ.

Несколько десятков тысяч немцев, живших в Латвии, имели свое самоуправление: «Дойчбалтише фольксгемайншафт» — «Немецко-балтийское народное объединение», которое расчленилось на отделы: статистический, школьный, спортивный, сельскохоззяйственный и другие.

Статистический отдел занимался регистрацией всех немцев по месту жительства. Для этого страна была разделена на районы — «дойчбалтише нахбаршафтен».

В провинции, где жило сравнительно мало немцев, главным образом фермеры, одна нахбаршафт соответствовала области, а в городах Риге, Либаве и других — району. Начальник района назывался нахбарнфюрер. Пять-шесть районов составляли зону — крейс, во главе которой стоял крейслейтер. Каждый, кто принадлежал к организации, платил в нее членские взносы. Когда в сентябре 1939 года началось переселение желающих вернуться на родину немцев, «Немецко-балтийское народное объединение» возглавило всю работу с переселенцами. Был составлен план. Назначены для каждой зоны день и час выезда.

За несколько дней до отъезда к переселенцам направлялись плотники, доставались упаковочные материалы. Все имущество, включая мебель, укладывали в ящики и на машинах отвозили в гавань.

Пароходы были германские. Пассажирские суда предоставила немецкая туристская компания общества «Крафт дурх фрейде» — «Сила через радость».

В назначенный час переселенцы на автобусах приезжали в гавань и садились на пароходы, которые следовали в Данциг, Штеттин, Гамбург.

К лету 1940 года переселение в основном закончилось — в Латвии осталась лишь небольшая группа немцев. Это были люди, не пожелавшие уехать, главным образом из-за смешанных браков, и те, кто не хотел жить в Германии по политическим мотивам. Но нашлись латыши, которые, тоже по политическим причинам, стремились уехать в Германию, и им удалось за весьма крупные денежные суммы оформить членами «Немецко-балтийского народного объединения».

Изучая деятельность «объединения», работники советских следственных органов установили: некоторые активисты — тайные члены национал-социалистической партии — почему-то не репатриировались с первыми группами. И для того, чтобы их дальнейшее пребывание в Латвии не так бросалось в глаза, они искусственно задерживали отъезд многих лояльно настроенных немцев.

Но когда несколько активистов были уличены в шпионаже, из Берлина пришло распоряжение крейслейтерам общества немедленно завершить репатриацию. Очевидно, Берлин счел, что целесообразнее убрать свою явную агентуру, чем вызывать впредь и без того достаточно обоснованное недоверие правительств социалистической Латвии.

Но за это время небольшая, правда, группа лояльно настроенных немцев — к ним принадлежал и инженер Рудольф Шварцкопф — решила остаться в Латвии. Надо полагать, что руководители общества после провала своих агентов понимали, что в рейхе их за это не похвалят, а тут еще несколько немцев не пожелали возвращаться на родину!

Террористический акт был возмездием послушнику и предупреждением колеблющимся.

Это хорошо понимали работники следственных органов. Но задержать сейчас подозреваемых виновников преступления не представлялось возможным. По межгосударственному соглашению немецкое население должно было беспрепятственно покинуть Латвию. Нарушение договора грозило дипломатическими осложнениями. А прямых улик против Функа и его ближайших помощников пока не было.

### 3

Когда Иоганн Вайс пришел в автомастерскую, где он жил в отгороженной фанерой каморке, он застал у себя нахбарнфюрера Папке, который вместе с рабочим-упаковщиком приехал за его вещами. Вайс улыбнулся, поздоровался, вежливо поблагодарил Папке за любезность.

На полу высилась стопка книг, и среди них «Майн кампф» Гитлера, из которой во множестве торчали бумажные закладки.

Папке сказал, беря эту книгу в свои толстые руки с короткими пальцами:

— Это приятно свидетельствует о том, что у тебя на плечах неплохая голова. Но имеется еще одна книга, которая также должна сопутствовать немцу на всем пути его жизни. Я ее не вижу.

Вайс достал из-под матраца Библию и молча протянул Папке. Папке перелистал страницы, заметил:

— Но я не вижу, чтобы ты так же старательно читал эту священную книгу.

Вайс пожал плечами:

— Извините, господин нахбарнфюрер, но для нас, молодых немцев, учение фюрера так же свято, как и Священное Писание. Вы как будто этого не одобряете?

Папке нахмурился.

— Мне кажется, ты об этом собираешься сообщить первому же гестаповцу, как только переедешь границу?

И хотя всем немцам в Риге, а значит и Вайсу, было ведомо, что нахбарнфюрер Папке — давний сотрудник гестапо, чего тот, в сущности, не скрывал, Иоганн обидчиво возразил ему:

— Вы напрасно, господин Папке, пытаетесь внушить мне странное представление о деятельности гестапо. Но если мне будет предоставлена честь быть чем-нибудь полезным рейху, я оправдаю это высокое доверие всеми доступными для меня способами.

Папке рассеянно слушал. Потом, будто это его не очень интересовало, спросил безразличным голосом:

— Кстати, как там дела у Генриха Шварцкопфа? Удалось ему получить все бумаги отца?

— Вас интересуют бумаги, принадлежащие лично Шварцкопфу, или вообще все? Все, — повторил он подчеркнуто, — какие можно было взять у профессора Гольдבלата?

— Допустим, так, — сказал Папке.

Вайс вздохнул, развел руками:

— К сожалению, здесь возникли чисто юридические затруднения — так я слышал от Генриха.

— И как он предполагает поступить в дальнейшем?

— Мне кажется, Генриха сейчас интересует только встреча с его дядюшкой Вилли Шварцкопфом. Всему остальному он не придает никакого значения.

— Очень жаль, — недовольно покачал головой Папке. — Очень! — Но тут же добавил: — Печально, но мы не можем активно воздействовать на Генриха. Приводится считаться с его дядей.

Вайс заметил не совсем уверенно:

— Мне думается, что штурмбанфюрер вначале желал, чтобы Генрих остался тут.

— Зачем?

Вайс улыбнулся.

— Я полагаю, чтоб чем-то быть здесь полезным рейху.

— Ну, для такой роли Генрих совсем не пригоден, — сердито буркнул Папке. — Мне известно, что для этой цели подобраны более соответствующие делу люди. — Произнес обиженно: — Неужели штурмбанфюрер не удовлетворен нашими кандидатурами?

— Этого я не могу знать, — сказал Вайс и спросил с хитрецой в голосе: — А что, если попросить Генриха узнать у Вилли Шварцкопфа, какого он мнения о тех лицах, которых вы отобрали? — Пояснил поспешно: — Я это предлагаю потому, что знаю, какое влияние на Генриха оказывает господин Функ. А Функ, как вам известно, не очень-то к вам расположен, и, если случится у вас какая-нибудь неприятность, едва ли он будет особенно огорчен.

— Я это знаю, — угрюмо согласился Папке и, внезапно улыбнувшись, с располагающей откровенностью сказал: — Ты видишь, мальчик, мы еще не пришли в рейх, не исполнили своего долга перед рейхом, а уже начинаем мешать друг другу выполнять этот долг. И все почему? Каждому хочется откусить кусок побольше, хотя не у каждого для этого достаточное количество зубов. — Улыбка Папке стала еще более доверительной. — Сказать по правде, сначала я не слишком хорошо относился к тебе. Для этого имелись некоторые основания. Но сейчас ты меня убедил, что мои опасения были излишними.

— Я очень сожалею, господин нахбарнфюрер.

— О чем?

— О том, что вы только сейчас убедились, что ваше недоверие ко мне было необоснованным.

— В этом виноват ты сам.

— Но, господин Папке, в чем моя вина?

— Ты долго колебался, прежде чем принял решение репатрироваться.

— Но, господин Папке, я не хотел терять заработка у Рудольфа Шварцкопфа. Он всегда щедро платил.

— Да, мы проверили твои счета Шварцкопфу. Ты неплохо у него зарабатывал. И мы поняли, почему ты ставил свой отъезд в зависимость от отъезда Шварцкопфов.

— Это правда — мне хотелось накопить побольше. Зачем же на родине мне быть нищим?

Папке сощурился:

— Мы проверили твою сберегательную книжку. Все свои деньги ты взял из кассы накануне того, как подал заявление о репатриации. И правильно реализовал свои сбережения. Это мне тоже известно. Ты человек практичный. Это хорошо. Я рад, что мы с пользой поговорили. Но не исключено, что в день отъезда я пожелаю с тобой еще о чем-нибудь побеседовать.

— К вашим услугам, господин нахбарнфюрер, — Вайс щелкнул каблуками.

Папке уехал в коляске мотоцикла, за рулем которого сидел упаковщик, человек с замкнутым выражением лица и явно военной выправкой.

Вайс устало опустился на койку и потер ладонями лицо, будто стирая с него то выражение подобострастия, с каким он проводил нахбарнфюрера до ворот мастерской. Когда он отнял ладони, лицо его выглядело бесконечно утомленным, тоскливым, мучительно озабоченным.

Небрежно отодвинув ногой стопку книг, в том числе «Майн кампф» и Библию, он сел к сколоченному из досок столику. Включил стоящую на нем электрическую плитку, хотя в каморке было тепло. Из мастерской послышались шаги. Вайс быстро поднялся и вышел в мастерскую. Там его уже ожидал пожилой человек в черном дождевике — владелец велосипеда, недавно отданного в ремонт.

Вайс сказал, что машину можно будет получить завтра.

Но человек не уходил. Внимательно разглядывая Йоганна, он сказал:

— Я знал вашего отца, он медик?

— Да, фельдшер.

— Где он сейчас?

— Умер.

— Давно?

— В тысяча девятьсот двадцатом году.

— Где же его похоронили?

— Он умер от тифа. Администрация госпиталя в целях борьбы с эпидемией сжигала трупы умерших.

— Но, надеюсь, вы хоть чуточку помните своего отца?

— Да, конечно.

— Я помню его довольно хорошо, — сказал человек раздумчиво. — Он был страстный курильщик. Вот только забыл: он курил трубку или сигары? — Попросил: — Напомните, пожалуйста, что курил ваш отец.

Иоганн замаялся, припоминая все виденные им фотографии фельдшера Макса Вайса, — ни на одной из них он не был изображен ни с трубкой, ни с сигарой во рту.

Человек сказал строго:

— Но я отлично помню, он курил большую трубку. У вас в доме висела семейная фотография, где он снят с этой трубкой.

— Вы ошибаетесь, мой отец был медик, и он внушал мне всегда, что табак вреден для здоровья, — твердо отрезал Иоганн.

— Очевидно, вы правы, — согласился человек. — Извините.

Вайс проводил его до двери, запер мастерскую и вышел на улицу. Было сумеречно, шел мелкий, невидимый в темноте дождь. Он направился в сторону порта, но, не доходя до него, свернул в переулок и спустился по грязным ступеням в подвал пивного зала «Марина».

Усевшись за столик, он попросил у кельнера порцию черного пива, картофельный салат, свиную ножку с капустой.

Трое латышей — портовых рабочих, увидев свободные места, подсади к Вайсу. Они были заметно навеселе, но потребовали еще по порции водки и по бокалу пива. Не обращая внимания на Вайса, они продолжали спор, который, видимо, их очень волновал.

Разговор шел о пакте ненападения, заключенном между Советским Союзом и Германией. Рабочие говорили, что, хотя советские войска стоят сейчас на новой границе, следовало бы создать латышское рабочее ополчение, чтобы оно могло оказать помощь Красной Армии, если Гитлер обманет Сталина. Как о вполне допустимом говорили они, что Гитлер может напасть на Латвию, и хотя еще не все латыши на стороне советской власти, большинство будут драться с немцами, потому что в буржуазной Латвии немцы вели себя как в своей колонии. И уже по одному этому следовало дать оружие народу, для которого немцы — давние отъявленные враги-захватчики. Сухонький, малорослый латыш в бобриковой куртке возражал товарищам, утверждая, что надо прежде всего произвести проверку даже в партийных рядах, выявить тех, кто колебался во времена фашистского режима Ульманиса, выбросить их из партии. Охватить проверку всех, включая и рабочих, и только тогда можно будет решать, кто заслуживает доверия.

Остановив взгляд на Вайсе в поисках союзника, латыш в бобриковой куртке спросил:

— Ну, а ты, парень, что думаешь?

Вайс помедлил, потом произнес отдельно, с наглой смелостью глядя в глаза напряженно ожидающим его ответа рабочим.

— Ты правильно говоришь, — кивнул он в сторону латыша в бобриковой куртке. — Зачем легкомысленно доверять рабочему классу? Надо его сначала проверить. Но пока вы, латыши, будете друг друга проверять, мы, немцы, придем и установим здесь свой новый порядок.

Положил деньги на стол, поднялся и пошел к выходу.

Человек в бобриковой куртке хотел броситься на Вайса с кулаками, но приятели удержали его. Один из них сказал:

— Он правильно тебя понял. Выходит, то, о чем ты говорил, устраивает сейчас немцев, а не нас, латышей. Что получается: этот немец, наверное, гитлеровец, хотя и был полностью на твоей стороне, но поддерживал не тебя, а нас против тебя.

Выйдя из пивной, Вайс зашагал к гавани. Дождь усилился. Казаюсь, кто-то шлепает по асфальту босыми ногами. Черная вода тяжело плюхалась о бетонные сваи причалов. Рыбаки в желтых проолифленных зюйдвестках при свете бензиновых ламп выгружали улов в большие плоские корзины.

На причале толпились торговцы, приехавшие сюда на пароконных телегах. Вайс укрылся от дождя под навесом, где был сложен различного рода груз.

К нему подошел невысокий человек в старенькой тирольской шляпе, вежливо приподнял ее, обнажив при этом лысую голову, и осведомился, который теперь час. Вайс, не взглянув на часы, ответил:

— Без семи минут.

Человек, тоже не посмотрев на свои часы, почему-то удивился:

— Представьте, на моих то же самое. Какая точность! — Взяв под руку Вайса и шагая с ним в сторону от причала, пожаловался: — Типичная гриппозная погода. Обычно в целях профилактики я принимаю в такие дни таблетки кальцекаса. Можете называть меня просто Бруно. — Искося глянул на Вайса. — Я весь к вашим услугам. — Спросил строго: — Очевидно, мне нет нужды напоминать, что вы были знакомы с моей покойной дочерью, ухаживали за ней и я готов был считать вас своим зятем, но после того, как меня уволили из мэрии за неблагоприятное...

— Вы собираетесь учинить мне здесь экзамен? — недружелюбно спросил Вайс. — Один я уже как будто бы выдержал.

— Отнюдь! — запротестовал Бруно. Но тут же сам возразил себе: — А почему бы и нет? Вас это обижает? Меня — несколько. — Спросил: — Хотите конфетку? Сладкое удивительно благотворно действует на нервную систему.

Вайс спросил хмуро:

— Что с архивом Рудольфа Шварцкопфа?

Бруно опустил глаза и, не отвечая на вопрос, осведомился:

— Вы не считаете, что ваша активность противоречит директиве? — Поднял глаза, неодобрительно поглядел на низко нависшие тучи, произнес скучным голосом: — Я бы на вашем месте не прояв-

лял столь поспешно охоты ознакомиться с документами Шварцкопфа. Господину Функу это могло не понравиться. Вы допустили нарушение. Я вынужден официально это констатировать.

— Я же хотел... — попытался оправдаться Вайс.

— Все, все понятно, голубчик, чего вы хотели, — добродушно прервал Бруно, — и вы были почти на верном пути, когда порекомендовали Папке выяснить через Генриха у Вилли Шварцкопфа список резидентов. И вы правы, Папке — тупой солдафон. Но недостатки его интеллекта полностью искупаются чрезвычайно развитой подозрительностью. Это его сильная сторона, которую вы недоучили, как недоучили и то, что Папке — мелкий гестаповец, а только самая крупная фигура в гестапо может быть осведомлена о таком важном списке. Ни Папке, ни Функ к этому не могли быть допущены. Есть и другие лица, совсем другие... — Бруно ласково улыбнулся Вайсу. — Но вы не обижайтесь. Я ведь старше вас не только по званию, опыту, но и по возрасту. — Помолчав, добавил: — Поверьте, самое сложное в нашей сфере деятельности — это дисциплинированная целеустремленность. И не забывайте, что люди, направляющие вас, достаточно осведомлены о неизвестных вам многих обстоятельствах. И всегда бывает так, что лучше отказаться от чего-то лежащего на пути к цели, пусть даже весьма ценного, во имя достижения самой цели. Вы меня понимаете?

— Да, — согласился Вайс. — Вы правы, я увлекся, нарушил инструкцию, принимаю ваш выговор.

— Ну что вы! — усмехнулся Бруно. — Когда дело доходит до выговора, человек уходит и на смену ему приходит другой. Это я так, в порядке обмена опытом — несколько дружеских советов. — Зевнул, пожаловался: — А я, знаете ли, обычно на диете, а тут питался какой-то жирной пищей. Плохо себя чувствую. Свинина мне противопоказана.

— Может, вы у меня отдохнете и примете лекарство?

— Ну что вы, Иоганн! — укоризненно заметил Бруно. — Мы же должны только на вокзале обрадоваться встрече после нескольких месяцев разлуки. Кстати, — с довольным видом сообщил Бруно, — я буду, очевидно, избавлен от строевой службы в Германии — по крайней мере наши врачи в поликлинике единодушно утверждали, что по состоянию здоровья я совершенно к ней не пригоден. Это — очень счастливое для меня обстоятельство. В худшем случае — служба в тыловой армейской канцелярии, против чего я бы отнюдь не возражал. И если вы напомните о старике Бруно вашему другу Генриху, это будет очень мило. — Улыбнулся. — Ведь я же не препятствовал вам ухаживать за моей покойной дочерью... — И многозначительно подчеркнул: — Эльзой.

— Ну да, Эльзой, — уныло подтвердил Вайс. — У нее были белокурые волосы, голубые глаза, она прихрамывала на левую ногу, повредила ее в детстве, неудачно прыгнув с дерева.



— Стандартный портрет. Но что делать, если таков был и оригинал? — пожал плечами Бруно. Потом сказал деловито: — Ну, вы, конечно, догадались, визит неизвестного и диалог о вашем отце носили чисто тренировочный характер, как, впрочем, и наша сегодняшняя встреча. — Подал руку, приподнял тирольскую шляпу с обвисшим перышком, церемонно простился: — Еще раз свидетельствую свое почтение. — И ушел в темноту, тяжело шлепая по лужам.

Во втором часу ночи, когда Вайс проходил мимо дома профессора Гольдבלата, весь город был погружен в темноту, светилось только одно из окон этого дома. И оттуда доносились звуки рояля. Вайс остановился у железной решетки, окружающей дом профессора, закурил.

Странно скорбные и гневные, особенно внятные в тишине, звуки рояли в сыром тумане улицы.

Вайс вспомнил, как Берта однажды сказала Генриху:

— Музыка — это язык человеческих чувств. Она недоступна только животным.

Генрих усмехнулся:

— Вагнер — великий музыкант. Но под его марши колонны штурмовиков отправляются громить еврейские кварталы...

Берта, побледнев, проговорила сквозь зубы:

— Звери в цирке тоже выступают под музыку.

— Ты считаешь наци презренными людьми и удивляешься, почему они...

Берта перебила:

— Я считаю, что они позорят людей немецкой национальности.

— Однако, — упрямо возразил Генрих, — не кто-нибудь, а Гитлер сейчас диктует свою волю Европе.

— Европа — это и Советский Союз?

— Но ведь Сталин подписал пакт с Гитлером.

— И в подтверждение своего миролюбия Красная Армия встала на новых границах?

— Это был ловкий фокус.

— Советский народ ненавидит фашистов!

Генрих презрительно пожал плечами.

Берта произнесла гордо:

— Я советская гражданка!

— Поздравляю! — Генрих насмешливо поклонился.

— Да, — сказала Берта. — Я принимаю твои поздравления. Германия вызывает сейчас страх и отвращение у честных людей. А у меня есть теперь отечество, и оно — гордость и надежда всех честных людей мира. И мне просто жаль тебя, Генрих. Я должна еще очень высоко подняться, чтобы стать настоящим советским человеком. А ты должен очень низко опуститься, чтобы стать настоящим наци, что ты, кстати, и делаешь не без успеха.

Вайс вынужден был тогда уйти вместе с Генрихом. Не мог же он оставаться, когда его друг демонстративно поднялся и направился к двери, высказав сожаление, что Берта сегодня слишком нервно настроена.

Но когда они вышли на улицу, Генрих воскликнул с отчаянием:

— Ну зачем я вел себя как последний негодяй?

— Да, ты точно определил свое поведение.

— Но ведь она мне нравится!

— Но почему же ты избрал такой странный способ выказывать свою симпатию?

Генрих нервно дернул плечом.

— Я думаю, что было бы бесчестно скрывать от нее мои убеждения.

— А то, что ты говорил, — это твои подлинные убеждения?

— Нет, совсем нет, — вздохнул Генрих. — Меня мучают сомнения. Но если допустить, что я такой, каким был сегодня, сможет ли Берта примириться с моими взглядами ради любви ко мне?

— Нет, не сможет, — с тайной радостью сказал Вайс. — И на это тебе нельзя рассчитывать. Ты сегодня сжег то, что тебе следовало сжечь только перед отъездом. Я так думаю.

— Возможно, ты и прав, — покорно согласился Генрих. — Я что-то сжигаю в себе и теряю это безвозвратно.

Всю дорогу они молчали. И только возле своего дома Генрих спросил:

— А ты, Иоганн, тебе нечего сжигать?

Вайс помедлил, потом ответил осторожно:

— Знаешь, мне кажется, что мне скорее следовало бы подражать тебе такому, каким ты стал, чем тому Генриху, которого я знал раньше. Но я не буду этого делать.

— Почему?

— Я боюсь, что стану тебе неприятен и потеряю друга.

— Ты хороший человек, Иоганн, — сказал Генрих. — Я очень рад, что нашел в тебе такого искреннего товарища! — И долго не выпускал руку Вайса из своей.

Дождь иссякал, опорожненное от влаги небо светлело, а музыка звучала все более гневно и страстно. Иоганн никогда не слышал в исполнении Берты эту странно волнующую мелодию. Он силился вспомнить, что это, и не мог. Встал, бросил окурочек и зашагал к авторемонтной мастерской.

#### 4

Утро было сухое, чистое.

Парки, скверы, бульвары, улицы Риги, казалось, освещались жарким цветом яркой листвы деревьев. Силуэты домов отчетливо вырисовывались в синем просторном небе с пушистыми облаками, плывущими в сторону залива.

На перроне вокзала выстроилась с вещами последняя группа немцев-репатриантов. И у всех на лицах было общее выражение озабоченности, послушания, готовности выполнить любое приказание, от кого бы оно ни исходило. На губах блуждали любезные улыбки, невесть кому предназначенные. Дети стояли, держась за руки, ожидающе поглядывая на родителей. Родители в который уже раз тревожными взглядами пересчитывали чемоданы, узлы, сумки. Исполтишка косились по сторонам, ожидая начальства, приказаний, проверки. Женщины не выпускали из рук саквояжей, в которых, очевидно, хранились документы и особо ценные вещи.

Крейслейтеры и нахбарнфюреры, на которых вопросительно и робко поглядывали переселенцы, к чьей повелительной всевластности они уже давно привыкли, держали себя здесь так же скромно, как и рядовые репатрианты, и ничем от них не отличались. Когда кто-нибудь из отъезжающих, осмелев, подходил к одному из руководителей «Немецко-балтийского народного объединения» с вопросом, тот вежливо выслушивал, снимал шляпу, пожимал плечами и, по-видимому, уклонялся от того, чтобы вести себя здесь как начальственное и в чем-либо осведомленное лицо.

И так же, как все переселенцы, крейслейтеры и нахбарнфюреры с готовностью начинали искательно улыбаться, стоило появиться любому латышу в служебной форме.

Но, кроме двух-трех железнодорожных служащих, на перроне не было никого, перед кем следовало бы демонстрировать угодливую готовность подчиняться и быть любезным.

Подошел состав. В дверях вагонов появились проводники, раскрыли клеенчатые портфельчики с множеством отделений для билетов.

Но никто из репатриантов не решался войти ни в один из трех предназначенных для них вагонов. Все ждали какого-то указания, а от кого должно было исходить это указание, никому из них ведомо не было. Стоял состав, стояли проводники возле дверей вагонов, стояли пассажиры. И только длинная, как копьё, секундная стрелка вокзальных часов, похожих на бочку из-под горячего, совершала в этой странной общей неподвижности судорожные шажки по циферблату.

Но стоило проходящему мимо железнодорожному рабочему с изумлением спросить: «Вы что стоите, граждане? Через пятнадцать минут отправление», — как все пассажиры, словно по грозной команде, толпясь, ринулись к вагонам.

Послышались раздраженные возгласы, треск сталкивающихся в проходе чемоданов.

Начальствующие руководители «объединения» и рядовые его члены одинаково демократично боролись за право проникнуть в вагон первыми. И здесь торжествовал тот, кто обладал большей силой, ловкостью и ожесточенной напористостью.

И если еще можно было понять подобное поведение людей, пы-

тающихся первыми занять места в бесплацкартном вагоне, то яростная ожесточенность пассажиров первого класса была просто непостижима... Ведь никто не мог занять их места. Между тем среди пассажиров первого класса борьба за право войти в вагон раньше других была наиболее ожесточенной. Но стоило репатриантам энергично и шумно ввалиться в вагоны и захватить в них принадлежащее им, так сказать, жизненное пространство, как почти мгновенно наступила благопристойная тишина. Всеобщее возбуждение затихло, на физиономиях вновь появилось выражение покорной готовности подчиняться любому распоряжению. И, обрета в лице проводников начальство, пассажиры улыбались им любезно, застенчиво, в напряженном ожидании каких-либо указаний.

По-прежнему они — теперь через окна вагонов — бросали искоса тревожные взгляды на перрон, ожидая появления кого-то самого главного, кто мог все изменить по своей всевластной воле.

Но вот на перроне появился латыш в военной форме, сотни глаз устремились на него тревожно и испуганно. И когда он шел вдоль состава, пассажиры, провожая его пытливыми взглядами, даже приветствовали с сидений.

Военный подошел к газетному киоску, где сидела хорошенькая продавщица, оперся локтями о прилавок и принял такую прочную, устойчивую позу, что сразу стало понятно: этот человек явился всерьез и надолго.

Как только всящие на чугунном кронштейне часы показали узорными, искусно выкованными железными стрелками время отправления, поезд тронулся. И у репатриантов началась та обычная вагонная жизнь, которая ничем не отличалась от вагонной жизни всех прочих пассажиров этого поезда дальнего следования.

Станным казалось только то, что они ни с кем не прощались. Не было перед этими тремя вагонами обычной вокзальной суматохи, возгласов, пожеланий, объятий. И когда поезд отошел, пассажиры не высовывались из окон, не махали платками, не посылали воздушных поцелуев. Этих отъезжающих никто не провожал. Они навсегда покидали Латвию. Для многих она была родиной, и не у одного поколения здесь, на этой земле, прошла жизнь, и каждый из них обрел в этой жизни место, положение, уверенность в своем устойчивом будущем. В Латвии их не коснулись те лишения, которые испытал весь немецкий народ после Первой мировой войны. Их связывала с отчиной только сентиментальная романтическая любовь и преклонение перед старонемецкими традициями, которые они свято блюли. За многие годы они привыкли пребывать в приятном сознании, что здесь, на латышской земле, они благоденствуют, живут гораздо лучше, чем их сородичи на земле отчины. И радовались, что судьба их не зависит от тех политических бурь, какие клочкотали в Германии.

Долгое время для рядовых трудящихся немцев «Немецко-балтий-

ское народное объединение» было культурнической организацией, в которой они находили удовлетворение, отдавая дань своим душевным привязанностям ко всему, что в их представлении являлось истинно немецким. Но в последние годы дух гитлеровской Германии утвердился и в «объединении». Его руководители стали фюрерами, осуществлявшими в Латвии свою диктаторскую власть с не меньшей жестокостью и коварством, чем их сородичи в самой Германии.

За небольшим исключением, — речь идет о тех, кто открыто и мужественно вступал в борьбу с фашистами и в период ульманисовского террора был казнен, или находился в тюрьме, или ушел в подполье, — большинство латвийских немцев уступило политическому и духовному насилию своих фюреров. С истеричной готовностью стремились они выразить преданность Третьему рейху, всеми явными и тайными способами, сколь бы ни были эти способы противны естественной природе человека.

Дух лицемерия, страха, рабской покорности, иступленной жажды обрести господство над людьми не только здесь, но и там, где фашистская Германия распространяла свое владычество над поработенными народами захваченных европейских государств, дух этот вошел в плоть и кровь членов «объединения», и наружу вышло все то низменное, потаенное, что на первый взгляд казалось давно изжитым, по крайней мере у тех, кто, подчеркивая свою добропорядочность, придерживался здесь, в Латвии, строгих рамок мещанско-бюргерской морали.

И хотя пассажиры этих трех вагонов вновь обрели внешнее спокойствие, с их добродушно улыбающихся лиц не сходило выражение напряженной тревоги.

Одних терзало мучительное беспокойство, что сулит им отчизна, будут ли они там благоденствовать, как в Латвии, нет ли на них «пятен», способных помешать им утвердиться в качестве новых благонадежных граждан рейха. Других, кто не сомневался, что их особые заслуги перед рейхом будут оценены наилучшим образом, беспокоило, смогут ли они беспрепятственно пересечь границу. Третьи — и их было меньшинство — тайно предавались простосердечной скорби о покидаемой латвийской земле, которая была для них родиной, жизнью, со всеми привязанностями, какие отсечь без душевной боли было невозможно.

Но страх каждого перед каждым, боязнь обнаружить свои истинные чувства и этим повредить себе в будущем и настоящем — все это скрывалось под, давно уже привычной маской лицемерия. Поэтому репатрианты старались вести себя в поезде с той обычной беспечной независимостью, которая присуща любому вагонному пассажиру.

...Иоганн Вайс не спешил занять место в бесплацкартном вагоне, он стоял на перроне, поставив на асфальт брезентовый саквояж, тер-

пеливо ожидая, когда сможет подняться на подножку, не причинив при этом беспокойства своим попутчикам.

Неожиданно подошел Папке и рядом с брезентовым саквояжем Вайса поставил фибровый чемодан; другой, кожаный, он продолжал держать в руке.

Не здороваясь с Вайсом и подчеркнуто не узнавая его, Папке внимательно наблюдал за посадкой. И вдруг, выбрав момент, схватил саквояж Вайса и устремился к мягкому вагону.

Вайс, решив, что Папке по ошибке взял его саквояж, побежал за ним с чемоданом. Но Папке злобно прикрикнул на него:

— Зачем вы мне суете ваш чемодан? Ищите для этого носильщика.

И Вайсу пришлось проследовать в свой вагон, где он занял верхнюю полку, положив в изголовье фибровый чемодан Папке.

Вся эта история ставила Вайса в довольно затруднительное положение. Вначале он предположил, что Папке разыграл комедию для того, чтобы ознакомиться с содержимым саквояжа, и скоро вернет его, возможно даже извинившись за «ошибку». Но потом более тягостные соображения стали беспокоить Вайса. На границе чемодан вскроют таможенники, и в нем они могут обнаружить нечто такое, что помешает его владельцу пересечь границу, а владельцем чемодана стал сейчас Вайс.

Выбросить чемодан или, воспользовавшись подходящим моментом, подсунуть его под скамейку кому-нибудь из пассажиров — значит лишить Папке его имущества. А ведь Вайсу, после того как Функ уехал в рейх и связь с ним потеряна, важно пользоваться и впредь расположением Папке, и он не имеет права подвергать себя риску утратить это расположение.

Напряженно ища способ распутать петлю, накинутую на него Папке, Вайс свесил с полки ноги и, мотая головой, стал наигрывать на губной гармошке тирольскую песенку, слова которой отлично знали все мужчины, однако произносить их в присутствии дам было не принято. Тем не менее женщины, слушая мелодию этой песенки, обещающе улыбались молодому озорнику, столь откровенно выражавшему свою радость по поводу отъезда на родину.

Тощий молодой немец налил в пластмассовый стаканчик водки и протянул Вайсу.

— За здоровье нашего фюрера! — Он молитвенно закатил глаза. — Ему нужны такие молодцы, как мы.

— Хайль! — Иоганн простер руку.

Немец строго предупредил:

— Мы еще не дома. — Ухмыльнувшись, заметил: — Но мы с тобой не родственники. И если ты забудешь потом налить мне столько же из своего запаса, это будет с твоей стороны неприлично.

Пожилой пассажир со свежевыбритым жирным затылком пробормotal:

— Ты прав, мы могли быть мотами в Латвии, но не должны вести себя легкомысленно у себя дома.

Тощий спросил вызывающе:

— Ты хочешь сказать, что в Латвии есть жратва, а в рейхе ее нет? Ты на это намекаешь?

Пожилой пассажир, такой солидный и медлительный, вдруг начал жалко моргать, лицо его покрылось потом, и он поспешно стал уверять тощего юнца, что тот неправильно его понял. Он хотел только сказать, что надо было больше есть, чтоб меньше продуктов доставалось латышам, а в Германии он будет меньше есть, чтобы больше продуктов доставалось доблестным, рыцарям вермахта.

— Ладно, — сказал тощий. — Считай, что ты выкрутился, но только после того, как угостишь меня и этого парня, — кивнул он на Вайса. — Нам с ним нужна хорошая жратва. Такие, как ты, вислобрюхие, должны считать для себя честью угостить будущих солдат вермахта.

Когда Бруно заглянул в отделение вагона, где устроился Вайс, он застал там веселое пиршество. И только один хозяин корзины со съестным понуро жался к самому краю скамьи, уступив место у столика молодым людям.

Бруно приподнял тирольскую шляпу, пожелал всем приятного аппетита. Увидев среди пассажиров Вайса, он кинулся к нему с объятиями, весь сияя от этой неожиданной и столь счастливой встречи. И он начал с таким страстным нетерпением выпрашивать Вайса об их общих знакомых и так неукротимо стремился сообщить ему подобные же сведения, что Вайс из чувства благососпитанности был вынужден попросить Бруно выйти с ним в тамбур, так как не всем пассажирам доставляет удовольствие слушать его громкий и визгливый голос.

Бруно, извиняясь, снова приподнял над белой лысиной шляпу с игривым петушиным перышком и, поднеся обе ладони к ушам, объяснил, что он говорит так громко оттого, что недавно у него было воспаление среднего уха и он совсем плохо слышал даже свой собственный голос, а теперь, когда его вылечили, никак не может привыкнуть говорить нормально: то орет, как фельдфебель на плацу, то шепчет так тихо, что на него обижаются даже самые близкие люди. Кланяясь и расшаркиваясь, Бруно долго извинялся за свое вторжение и удалился с Вайсом, дружески поддерживая его под локоть.

Они вышли из тамбура на площадку между вагонами, где бренчат вафельные железные плиты и сквозь сложенные гармоникой брезентовые стенки с воем дул ветер.

Вайс, наклонившись к уху Бруно, рассказал ему о чемодане Папке. Бруно кивнул и сейчас же ушел в соседний вагон с таким видом, будто после всего услышанного потерял охоту иметь что-либо общее с Йоганном, попавшим в беду.

Но через некоторое время Бруно вновь появился в вагоне, где



ехал Вайс. Поставив на полку Вайса рядом с фибровым чемоданом Папке небольшую плетеную корзину, он объявил, что ушел со своего места, но пусть никто не беспокоится, он вовсе не намерен кого-нибудь здесь стеснять, просто он веселый человек и хочет развлечь уважаемых соотечественников несколькими забавными фокусами.

Вытащив из кармана колоду карт, он стал показывать фокусы, и хотя фокусы были незамысловатые и проделывал их Бруно не очень-то ловко, он требовал, чтобы присутствовавшие честно закрывали глаза перед тем, как загадать карту, и с таким неподдельным отчаянием конфузился, когда загаданную карту не удавалось назвать, что расположил к себе всех. А потом, небрежно подхватив фибровый чемодан, ушел, заявив, что найдет себе уютное место.

После ухода Бруно Вайс полез на свою верхнюю полку и лег, положив под голову руки, и закрыл глаза, будто заснул.

Время приближалось к обеду, когда вновь появился Бруно с чемоданом. Снова, бесконечно извиняясь, забросив его на полку к Вайсу, вынул из кармана бутерброд, аккуратно завернутый в промасленную бумагу, и сказал, что сейчас будет наслаждаться обедом.

Но когда пожилой немец протянул Бруно куриную ножку, тот вежливо отказался, сославшись на нежелание полнеть, поскольку твердо надеется, что родина не откажется от него как от солдата. Этим Бруно вызвал к себе еще большую симпатию. И чтобы не мешать пассажирам обедать, он залез на верхнюю полку, уселся рядом со своей корзиной и обнял ее. Но тут же, с присущей ему природной живостью, спустился на пол и с корзиной в руках удалился, сказав на прощание, что постарается найти себе место рядом с какой-нибудь дамой не старше ста и не моложе тринадцати лет. Погладил свою лысину и похвастал:

— Если я и утратил красоту своей прически, то только потому, что, как истинный мужчина, всегда преклонялся перед женской красотой.

Пассажиры вагона провожали шутника снисходительными взглядами. Вайс тоже улыбался, а когда он полез на полку, то больно стукнулся коленом о чемодан Папке, снова стоявший в изголовье. Вайс положил на его жесткое ребро голову с таким наслаждением, словно это был не чемодан, а пуховая подушка.

После миновавшей тревоги он обрел спокойствие, — видимо, в чемодане Папке ничего опасного для него, Вайса, не содержалось. Только сейчас Иоганн понял, как неимоверно тяжело ему носить ту личину, которую он на себя надел. Несколько минут избавления от нее принесли ему чувство, сходное с тем, которое испытывает человек, на ощупь ползший во мраке по нехоженой горной тропе над бездной. Тропа обрывается, кажется — впереди гибель, и вдруг под ногой опора, он перешагнул через провал и снова оказался на тропе.

За последние месяцы у Иоганна выработалась почти автоматиче-



ская способность к холодному, четкому самонаблюдению. Он приобрел привычку хвалить или осуждать себя, как постороннего, нравиться себе или не нравиться, презирать себя или восхищаться собой. Он отделял от себя свою новую личину и с внимательным, придирчивым любопытством исследовал ее жизнеспособность. Он испытывал своего рода наслаждение, когда власть его над этой личиной была полной.

Он понимал, что в минуту опасности присвоенная ему личина могла быть сдернута с него по его вине; он был в полной зависимости от того, насколько она прочна, ибо только она одна могла спасти его такого, каков он есть на самом деле.

Эта зависимость от того себя, к которому он не мог преодолеть чувства враждебности и презрения, иногда настолько изнуряла духовные силы, что для восстановления их было необходимо, хотя бы на самое короткое время, исцеляющее одиночество.

Но когда он наконец мог остаться наедине с собой, приходила ничем не преборимая тоска от утраты мира, который составлял сущность его «я». И этот мир был живым, прекрасным, настоящим, а тот, в котором он жил сейчас, казался вымышленным, смутным, тяжелым, как бредовый сон.

Никогда он не предполагал, что самым трудным, мучительным в той миссии, которую он избрал, будет это опасное раздвоение сознания.

Вначале его даже увлекала игра: влезть в шкуру другого человека, сочинять его мысли и радоваться, когда они точно совпадали с тем представлением, которое должно возникать об этом человеке у других людей.

Но потом он понял, ощутил, что чем успешней он сливается со своей новой личиной, тем сильнее потом, в мгновения короткого одиночества, жжет его тоска по утрате того мира, который все дальше и дальше уходил от него, по утрате себя такого, каким он был и уже не мог быть, не имел права быть.

В минуты усталости его; охватывало мучительное ощущение, будто он весь составлен из никогда не снимаемых протезов и никогда не почувствует себя настоящим, живым человеком, никогда уже полно не сможет воспринимать жизнь и людей такими, какие они есть, и себя таким, каким он был.

Один из наставников говорил ему, что момент тяжелого кризиса обязательно наступит и преодолевать его мучительно, непросто. Да, теперь он понимал, насколько непросто. Понимал, что переезд через советскую границу будет означать не только исполнение части задания. Переезд означает необратимое отсечение от той жизни, за пределами которой его личина должна получить еще большее господство над ним, над его подлинной сущностью, и чем покорней он будет служить этой личине, тем полнее и успешнее он выполнит

свой долг. Он неохотно расставался с чувством короткого отдохновения после миновавшей опасности, от которой его избавил Бруно.

В Белостоке Вайс не вышел на вокзал, куда устремились все пассажиры скупать кур, яйца, сдобные булки, колбасные изделия.

В опустевшем вагоне он продолжал партию в шахматы с Бруно. Задумчиво поглаживая свою лысину, Бруно бормотал:

— Хорош гусь этот твой Папке: полчемодана банок с черной икрой, меха и контрабандная дребедень. Хозяйственный мужичок! Чемодан отдашь ему, когда пересечете границу, досматривать тебя не будут. Мне придется задержаться на границе. В остальном все остается, как договорились. Главное — не проявляй резвой инициативы. Нам нужен Иоганн Вайс. И не нужен и еще долго будет не нужен Александр Белов. Понятно?

В вагоне появился пассажир, с трудом поддерживающий подбородком гору свертков. Бруно торжествующе объявил, двигая фигуру на шахматной доске:

— Вот вам вечный шах. — И, потирая руки, заметил ехидно: — Это моя любезность, я не сделал мата вашему королю исключительно из соображений такта. — Снисходительно глядя на Иоганна, посоветовал: — Учитесь, молодой человек, выигрывать, не оскорбляя самолюбия противника, тогда вы не утратите расположения партнера. — Покосился на пассажира с пакетами: — Вы, господин, заботитесь о своем животе столь ревностно, что забываете о престиже рейха. Неужели вы не понимаете, что поработали сейчас на красных, внушая им мысль о том, будто бы в Германии народ испытывает трудности? Нехорошо! — Он встал и, презрительно вздернув плечи, отправился в свой вагон.

Пассажир стал растерянно убеждать Вайса, что он очень хороший немец, настоящий немец и член национал-социалистской партии, что он готов принять все замечания и чем угодно искупить свою вину, даже выбросить покупки, это только ошибка и ничего более... Он так волновался, так сильно переживал обвинение, брошенное ему Бруно, что Иоганн, сжалившись, посоветовал толстяку не придавать особо большого значения сделанному ему замечанию: ведь он не исключение, все пассажиры поступали так же, но, если он потом обратит внимание немецких властей на недостойное поведение репатриантов, это снимет обвинение с него самого.

Толстяк горячо поблагодарил Вайса за ценный совет. И потом всю дорогу посматривал на него преданно, с благодарностью.

На пограничной станции пассажирам предложили проследовать в таможенный зал для прохождения необходимых формальностей. Таможенники осматривали вещи бегло, иногда только спрашивали, что лежит в чемоданах. И все же пассажиры нервничали, это выражалось в их чрезмерной предупредительности, ненужной готовности показать все, что у них было, и даже в никчемных попытках объяс-

нить, что уезжают они в Германию не по политическим мотивам, а из желания навестить родственников, с которыми давно не видались.

Папке, несмотря на возражения таможенника, вывалил на обитую линолеумом стойку все вещи из саквояжа Вайса и объявил, что везет только самое необходимое, потому что не уверен в том, что Германия станет его родиной: ведь настоящая его родина — Латвия, где у него много друзей — латышей и евреев, которые дороги его сердцу.

Таможенник, не притрагиваясь к вещам и глядя поверх головы Папке, попросил сложить все обратно в саквояж. Папке поджал губы, будто ему нанесли обиду, но лицо его вытянулось, когда таможенник попросил открыть кожаный чемодан.

Рядом с Папке стоял Бруно. Корзину его вывалили на стойку, и таможенник тщательно просматривал каждую вещь, откладывая в сторону бумаги и фото пленку, уложенную в аптекарские фарфоровые баночки.

Бруно, увидев в руках пограничника книгу, на переплете которой значилось «Учебник истории», хотя в действительности под переплетом было нечто совсем другое, сказал громко, вызываясь:

— Если б я пытался привезти книгу фюрера, но я ее увожу, увожу туда, где слова фюрера живут в сердце каждого. — И, оборотившись к Папке, спросил его, в надежде на поддержку: — Это же нелепо — полагать, что подобная литература может считаться запрещенной!

Папке отодвинулся от Бруно, сказал неприязненно:

— Оставьте меня в покое с вашим фюрером. — И посоветовал таможеннику: — Взгляните, что у него в карманах. Эта публика любит оружие. Я не удивлюсь, если у него на поясе висит кинжал с девизом на лезвии: «Кровь и честь». Таких молодчиков не следует пускать в Германию.

— Ах, так! — яростно воскликнул Бруно. — Это вас не следует пускать в Германию! И если пускать, то только для того, чтобы посадить там за решетку.

— Граждане! — строго произнес таможенник. — Прошу соблюдать тишину и не мешать работе.

Иоганн поставил чемодан на стойку, вынул сигарету и, подойдя к Папке, вежливо попросил:

— Позвольте...

Папке протянул свою папиросу. Наклоняясь, чтобы прикурить. Вайс прошептал:

— Ключ от вашего чемодана?

Папке отстранился, лицо его на мгновение потемнело. Но тут же приняло приветливое выражение. Он громко проговорил:

— Молодой человек, я вам сделаю маленький подарок, нельзя же курильщику путешествовать без спичек. — Полез в карман и положил в руку Вайсу связку ключей в замшевом мешочке.

— Благодарю вас, — сказал Иоганн. — Вы очень любезны. От-

крыв чемодан, Иоганн опустил глаза, глядя, как руки таможенника небрежно перебирают лежащие там вещи.

Таможенник спросил, не везет ли он что-либо недозволенное.

Вайс отрицательно покачал головой. Таможенник перешел к другому пассажиру, сказав Вайсу:

— Можете взять ваш чемодан.

После досмотра репатрианты перешли на другой перрон, где их ждал состав из немецких вагонов. Пограничники раздавали пассажирам их документы, взятые ранее для проверки. Вручая документы, офицер-пограничник механически вежливо говорил каждому по-немецки: «Приятного путешествия!» — и брал под козырек.

Офицер-пограничник был ровесником Иоганна и чем-то даже походил на него — сероглазый, с прямым носом, чистым высоким лбом и строгой линией рта, статный, подобранный, с небольшими кистями рук. Бросив на Иоганна безразличный взгляд и свернув таким образом с оригиналом фотографию на документе рейха, пограничник, аккуратно сложив, протянул Вайсу бумаги, козырнул, пожелал ему, как и другим, приятного путешествия и перешел к следующему пассажиру. На лице его сохранялось все то же выражение служебной любезности, за которой чувствовалось, однако, как чужды ему, молодому советскому парню в военной форме, все эти люди, и вместе с тем было видно, что он знает о них такое, что ему одному положено знать.

В мягком купейном вагоне этот офицер-пограничник подошел к Папке и, тщательно и четко выговаривая немецкие слова, попросил извинения за беспокойство, но он вынужден просить Папке пройти вместе с ним в здание вокзала для выяснения некоторых формальностей, которые, видимо из-за канцелярской ошибки, не были полностью соблюдены в документах Папке.

И Папке встал и покорно пошел впереди пограничника на перрон.

Из другого вагона вышел Бруно, так же, как и Папке, в сопровождении военных. Он возбужденно спорил и пытался взять из рук пограничника свою корзину.

Когда Бруно поравнялся с Папке, он почтительно раскланялся, приподняв свою тирольскую шляпу с игривым перышком, и воскликнул патетически:

— Это же насилие над личностью! Я буду протестовать!.. — Обратился к офицеру-пограничнику, простирая длани в сторону Папке: — Уважаемый общественный деятель, известное лицо! И вдруг... — Он в отчаянии развел руками.

— Не надо шуметь, — серьезно предупредил пограничник.

— А я буду шуметь, буду! — не унимался Бруно. Улыбаясь Папке, попросил: — Я рассчитываю, вы не откажете подтвердить здешним властям, что я человек лояльный, и если в моих вещах нашли предметы, не рекомендованные для вывоза за границу, то только пото-

му, что я просто не был осведомлен. Не знал, что можно вывозить, а что нельзя.

Через некоторое время Папке с расстроенным лицом вернулся в вагон, в руке он держал кожаный чемодан.

Эшелон с репатриантами вошел в пограничную зону и остановился. По обе стороны железнодорожного полотна тянулась, уходя за горизонт, черная полоса вспаханной земли. Эта темная бесконечная черта как бы отделяла один мир от другого.

Пограничники с электрическими фонарями, пристегнутыми кожаными петельками к бортовым пуговицам шинелей, проводили тщательный внешний досмотр состава, спускались даже в путевую канаву, чтобы оттуда обследовать нижнюю часть вагонов.

Казалось бы естественным, если бы каждый пассажир в эти последние минуты перед переездом границы испытывал волнение. Однако ничего подобного не наблюдалось, почти никто из них ничем не выражал своих чувств. Происходящее говорило Иоганну о том, что большинство переселяется в Германию не по приказу и не под давлением обстоятельств, а руководствуясь своими особыми, дальновидными целями. Должно быть, у многих имеются серьезные основания скрывать до поры до времени свои истинные намерения и надежды.

И чем больше равнодушия, покидая Латвию, выказывал тот или иной пассажир, тем глубже проникало в сознание Иоганна тревожное ощущение опасности, которая таится для него здесь в каждом из этих людей, обладающих способностью повелевать своими чувствами, маскировать их.

В этой последней партии репатриантов только незначительное число семейств неохотно оставляло Латвию, подчиняясь зловещей воле «Немецко-балтийского народного объединения». Не многие здесь горевали о своих обжитых гнездах, о людях, с которыми их связывали долгие годы труда и жизни.

Преобладали здесь те, кто до последних дней в Латвии вел двойную жизнь, накапливая то, что могло быть зачтено им в Германии как особые заслуги перед рейхом. И только слишком показное равнодушие и наигранное выражение скуки на лице выдавали тех, кто ничем не хотел выдать себя перед решающими минутами пересечения границы.

Вайс мысленно отмечал шаблонный способ маскировки, мгновенно принятый, словно по приказу, неслышно отданному кем-то, кто невидимо командовал здесь всем. И он и для себя принял к исполнению этот безмолвный приказ. И тоже с унылой скукой, бросая изредка беглые взгляды в вагонное окно, предавался ожиданию с тем же равнодушным безразличием, какое было запечатлено на лицах почти всех пассажиров.

Поезд медленно тронулся. И колеса начали отстукивать стыки рельсов с ритмичностью часового механизма.

Но как Иоганн ни пытался владеть собой, этот стальной ритмичный отстук грозного времени, неумолимого и необратимого, наполнил его ощущением бесконечного падения куда-то в неведомые глубины. И чтобы вырваться из состояния мучительной скорбной утраты всего для него дорогого и скорее броситься навстречу тому неведомому, что невыносимой болью пронзало все его существо, Иоганн вскинул голову, сощурился и бодро объявил пассажирам:

— Господа, осмелюсь приветствовать вас, кажется, уже на земле рейха. — Он встал, вытянулся. Лицо его обрело благоговейно-восторженное выражение.

При общем почтительном молчании Вайс достал из кармана завернутый в бумажку значок со свастикой и приколот к лацкану пиджака. Это послужило как бы сигналом: все принялись распаковывать чемоданы, переодеваться, прихорашиваться.

Через полчаса пассажиры выглядели так, словно все они собирались идти в гости или ожидали гостей. Каждый заранее тщательно продумал свой костюм, чтобы внешний вид свидетельствовал о солидности, респектабельности. А некоторая подчеркнутая старомодность одежды должна была говорить о приверженности к старонемецкому консерватизму, неизменности вкусов и убеждений. На столиках появились выложенные из чемоданов Библии, черные, не первой свежести, котелки, перчатки. Запахло духами.

Внезапно поезд судорожно лязгнул тормозами, как бы споткнувшись, остановился. По проходу протопали немецкие солдаты в касках, на груди у каждого висел черный автомат. Лица солдат были грубы, неподвижны, движения резкие, механические. Вошел офицер — серый, сухой, чопорный, с презрительно сощуренными глазами.

Пассажиры, как по команде, вскочили с мест.

Офицер поднял палец, произнес негромко, еле раздвигая узкие губы:

— Тишина, порядок, документы.

Брезгливо брал бумаги затянутой в перчатку рукой и, не оборачиваясь, протягивал через плечо ефрейтору. Ефрейтор в свою очередь передавал документ человеку в штатском, а тот точным и пронзительно-внимательным взглядом сличал фотографию на документе с личностью его владельца. И не у одного пассажира возникло ощущение, что этот взгляд пронизывает его насквозь и на стене вагона, как на экране, в эти мгновения возникает если не его силуэт, то трепещущий абрис его мыслей.

Забрав документы у последнего пассажира, офицер теми же тяжелыми, оловянными словами объявил:

— Порядок, спокойствие, неподвижность.

И ушел.

Солдаты остались у дверей. Они смотрели на пассажиров, будто

не видя их. Стояли в низко опущенных на брови стальных касках, широко расставив ноги, сжав челюсти.

Странное чувство охватило Вайса. Ему показалось, что он где-то уже видел этого офицера и этих солдат, видел такими, какие они есть, и такими, какими они хотели казаться. И от совпадения умо-зрительного представления с тем, что он увидел своими глазами, он почувствовал облегчение. Дружелюбно и почтительно, с оттенком зависти поглядывал он на солдат — так, как, по его предположению, и следовало смотреть на них штатскому юноше немцу.

Когда офицер вернулся в вагон в сопровождении сержанта и человека в штатском и начал раздавать пассажирам документы, Вайс встал, вытянулся, опустил руки по швам, восторженно и весело глядя в глаза офицеру.

Тот снисходительно улыбнулся.

— Сядьте.

Но Вайс, будто не слыша, продолжал стоять в той же позе.

— Вы еще не солдат. Сядьте, — повторил офицер.

Вайс вздернул подбородок, произнес твердо:

— Родина не откажет мне в чести принять меня в славные ряды вермахта.

Офицер добродушно хлопнул его перчаткой по плечу. Человек в штатском сделал у себя в книжке какую-то пометку. И когда офицер проследовал в другой вагон, спутники Иоганна шумно поздравили его: несомненно, он произвел с первого же своего шага на земле рейха наилучшее впечатление на представителя немецкого оккупационного командования.

Поезд катился по земле Польши, которая теперь стала территорией Третьей империи, ее военной добычей.

Пассажиры неотрывно смотрели в окна вагонов, бесцеремонно, как хозяева обменивались различными соображениями насчет новых германских земель, шеголяя друг перед другом деловитостью и презрением к славянщине. Мелькали развалины селений, подвергшихся бомбардировкам.

Под конвоем немецких солдат пленные поляки ремонтировали поврежденные мосты. На станциях повсюду были видны новенькие аккуратные таблицы с немецкими названиями или надписями на немецком языке.

И чем больше попадалось на пути следов недавнего сражения, тем непринужденнее и горделивее держали себя пассажиры. Вайс так же, как и все, неотрывно смотрел в окно и так же, как и все, восхищался вслух мощью молниеносного немецкого удара, и глаза его возбужденно блестели. Возбуждение охватывало его все больше и больше, но причины этого возбуждения были особого порядка; он уже давно четко и точно успевал запечатлеть в своей памяти мелькающие пейзажи там, где сооружались крупные хранилища для го-



рючего, склады, расширялись дороги, упрочались мосты, там, где на лесных полянах ползали тяжелые катки, уплотняя землю для будущих аэродромов.

И все это, наблюденное и запомнившееся, он почти автоматически размещал на незримой, но хорошо видимой мысленным взором карте. Так выдающиеся шахматисты наизусть играют сложную партию без шахматной доски.

В этой напряженной работе памяти сказывалась тренировка, доведенная до степени механической реакции, но, увы, деловой необходимости во всем этом не было... Ибо Вайс отлично знал, что пройдет немалый срок, пока он сможет передать сведения своим, но тогда эти сведения уже успеют устареть, хотя во всей неприкосновенности и будут сохраняться в его памяти.

Шумно восхищаясь лежавшей у подножия дерева со срезанной от удара вершиной грудой металла — всем, что осталось от разбитого польского самолета, пассажиры шутливо подзадоривали Вайса, советуя ему попытаться вступить в воздушные силы рейха, чтобы стать знаменитым асом. И Вайс, сконфуженно улыбаясь, говорил, что он считает высшей честью для себя закреплять на земле победы славных асов, но не смеет даже и мечтать о крыльях, которых достойны только лучшие сыны рейха. И, разговаривая так с пассажирами, он в то же время лихорадочно решал, как ему поступить. Да, все, что он увидел и запомнил, лежит в запретной для него зоне, но он сделал открытие, которое потрясло его, и это открытие сейчас важнее всего на свете. Накладывая на незримую карту отдельные возводимые немцами в Польше сооружения, мимо которых они ехали, он вдруг отчетливо понял их грозную нацеленность на страну, от которой все больше и больше удалялся. Все в нем кричало о страшной опасности, нависшей над его родиной. Смятение овладело им.

И если все возможные обстоятельства, при которых человек может утратить власть над собой, включая пытки и угрозу казни, были обсуждены с наставниками и тщательное самонаблюдение дало ему твердую уверенность, что любую опасность он встретит с достоинством, не утратив воли, самоконтроля и решимости, то это испытание оказалось выше его сил, он чувствовал это.

А поезд все шел и шел, и колеса все так же ритмично постукивали по шпалам. Вот он замедлил ход, остановился. Небольшая станция. К перрону подъехал грузовик с солдатами. Из него сбросили на землю два каких-то тяжелых, мокрых мешка, но тут же Иоганн с уносом увидел, что это не мешки, а люди. Два окровавленных человека со связанными на спине руками медленно поднялись и теперь стояли, опираясь друг о друга, чтобы не упасть, смотрели запухшими глазами на уставившихся на них пассажиров. На шее у них на белых чистеньких веревках висели одинаковые таблички: «Польский шпион». Надписи были сделаны мастерски: каллиграфическим ста-



роготическим немецким шрифтом по-немецки и ясными, разборчивыми буквами по-польски.

— Но! Но! — прикрикнул обер-лейтенант. — Вперед! — Конвойный толкнул одного из арестованных прикладом.

Тот, качаясь на окровавленных ступнях, медленно двинулся вдоль платформы, товарищ его плелся следом.

— Быстрее! — снова выкрикнул обер-лейтенант. — Быстрее!

И, обернувшись к пассажирам, с испуганными лицами наблюдавшим за происходящим, приказал раздраженно:

— По вагонам, по местам, живо!

И все пассажиры ринулись в вагоны, толкаясь в проходах так, будто промедление угрожало им смертью.

Толпа подхватила Вайса, затолкала в вагон, и он понял, как злы на него попутчики за медлительность, с которой он выполнял команду офицера.

Захлопнулась дверца тюремного вагона. Поезд отошел без сигнала, покатился дальше, на запад. И опять отстукивали свое колеса...

Неожиданно Иоганн вспомнил, что когда он читал в каком-нибудь романе, как герой его что-то особое, таинственное слышит в перестуке колес, это казалось ему смешной выдумкой. А сейчас он невольно поймал себя на том, что мерный, ритмичный, всегда успокаивающий стук вызывает тревогу.

И, вглядываясь в пассажиров, тщетно пытающихся сохранить прежние выражение спокойствия и уверенности, он на лицах многих из них заметил треногу. Было очевидно, что репатрианты из своего безмятежного далека несколько в ином свете представляли себе «новый порядок», устанавливаемый их соотечественниками, и рассчитывали, что возвращение на родину будет обставлено празднично. И как ни был потрясен Иоганн увиденным, как ни сострадал польским героям, он с радостью и успокоением понял: нацеленность Германии на границы его отчизны не может оставаться тайной, и польские патриоты любой ценой — даже ценой своей жизни — известят об этом командование советских войск. Эта мысль возвратила Иоганну хладнокровие, которое он было утратил.

Несколько успокоившись, Иоганн решил навестить Генриха, ехавшего в мягком вагоне, напомнить ему о себе, ведь они перед отъездом не ладили.

Были обстоятельства, неизвестные Вайсу.

Когда Генрих Шварцкопф вместе с Папке приехал на вокзал, здесь его ждал Гольдблат.

Профессор выглядел плохо. Лицо опухшее, в отеках, он тяжело опирался на трость с черным резиновым наконечником.

Генрих смутился, увидев Гольдבלата. Но профессор истолковал его смущение по-своему, в выгодном для Генриха смысле. Он сказал:

— Я понимаю тебя, Генрих. Но Берта вспыльчива. Я уверен, что

она испытывает в эти минуты горестное чувство от разлуки с тобой. — Профессор был прав: Берта действительно испытывала горестное чувство, но не потому, что уезжал Генрих, — с ним, она считала, уже все кончено; ей было больно за отца, который, вопреки всему происшедшему, решился в память дружбы со старым Шварцкопфом на ничем не оправданный поступок.

Профессор явился на вокзал с толстой папкой. В этой папке были работы Гольдבלата, которые Функ пытался недавно забрать из квартиры профессора. (Это темное дело Функу не удалось довести до конца: своевременно вмешался угрозыск.) И вот профессор решил несколько своих особенно ценных работ подарить сыну покойного друга.

Протягивая Генриху папку чертежей, перетянутую брючным ремнем, профессор сказал:

— Возьми, Генрих. Ты можешь продать мои чертежи какой-нибудь фирме. Если тебе там будет трудно и ты захочешь вернуться домой...

Генрих побледнел и сказал:

— Я у вас ничего не возьму.

— Напрасно, — сказал профессор и, внимательно взглянув в глаза Генриху, добавил: — Ты ведь хотел получить их. Но почему-то иным способом, минуя меня.

Папке шагнул к Гольдблату.

— Разрешите, профессор. — И, кивнув на Генриха, произнес, как бы извиняясь за него: — Он просто не понимает, какой вы ему делаете ценнейший подарок.

— Нет, — сказал профессор, — вам я этого не даю. — И прижал папку к груди.

— Пошли, — приказал Генрих и толкнул Папке так, что тот едва устоял на месте.

— Бедный Генрих, — сказал профессор. И повторил: — Бедный мальчик.

Берта застала только конец этой сцены, — не выдержав, она приехала вслед за отцом на вокзал.

Не взглянув на Генриха, она взяла у отца папку и, поддерживая его под руку, вывела на вокзальную площадь.

В такси профессору стало плохо. Ему не следовало после сердечного приступа сразу выходить из дому. Но он крепился, говорил дочери, утешая ее:

— Поверь мне, Берта, если бы Генрих взял мою папку, я бы с легким сердцем вычеркнул этого человека из своей памяти и постарался бы сделать все, чтобы и ты поступила так же. Но он не взял ее. Значит, в нем осталась капля честности. И теперь я жалею этого мальчика.

— Папа, — с горечью сказала Берта, — в Берлине он наденет на рукав повязку со свастикой и будет гораздо больше гордиться своим

дядей штурмбанфюрером Вилли Шварцкопфом, чем своим отцом — инженером Рудольфом Шварцкопфом, который называл тебя своим другом.

Профессор сказал упрямо:

— Нет, Берта, нет. Все-таки он не решился взять у меня папку.

Всего этого Иоганн Вайс не знал.

Пройдя через весь состав, Вайс осторожно постучал в дверь купе мягкого вагона.

Генрих сдержанно улыбнулся Вайсу, небрежно представил его пожилой женщине с желтым, заплывшим жиром лицом, предложил кофе из термоса, спросил:

— Ну, как путешествуешь? — И, не выслушав ответа, почтительно обратился к своей попутчице: — Если вы, баронесса, будете нуждаться в приличном шофере... — повел глазами на Вайса, — мой отец был им доволен.

Хотя у Шварцкопфов не было своей машины и, следовательно, Вайс не мог служить у них шофером, он встал и склонил голову перед женщиной, выражая свою готовность к услугам. Она сказала со вздохом, обращаясь к Генриху:

— К сожалению, он молод, и ему придется идти в солдаты. А у меня нет достаточных связей среди наци, чтобы освободить нужного человека от армии.

— А фельдмаршал? — напомнил Генрих.

Баронесса ответила с достоинством:

— У меня есть родственники среди родовитых семей Германии, но я не осведомлена, в каких они отношениях с этим нашим фюрером. — Усмехнулась: — Кайзер не отличался большим умом, но все-таки у него хватало ума высоко ценить аристократию.

— Уверяю вас, — живо сказал Генрих, — фюрер неизменно опирается на поддержку родовитых семей Германии.

— Да, я об этом читала, — согласилась баронесса. — Но особо он благоволит к промышленникам.

— Так же, как и те к нему, — заметил Генрих.

— Но зачем же тогда он называет свою партию национал-социалистской? Не благоразумней ли было ограничиться формулой национального единства? «Социалистская» — это звучит тревожно.

Вайс позволил себе деликатно вмешаться:

— Смею заверить вас, госпожа баронесса, что наш фюрер поступил с коммунистами более решительно, чем кайзер.

Баронесса недоверчиво посмотрела на Иоганна, сказала строго:

— Если бы я взяла вас к себе в шоферы, то только при том условии, чтобы вы не смели рассуждать о политике. Даже с горничными, — добавила она, подняв густые темные брови.

— Прошу простить его, баронесса, — заступился за Иоганна Генрих. — Но он хотел сказать вам только приятное. — И, давая по-

нять, что пребывание Вайса здесь не обязательно, пообещал ему: — Мы еще увидимся.

Раскланявшись с баронессой, Иоганн вышел в коридор, отыскал купе Папке и без стука открыл дверь. Папке лежал на диване в полном одиночестве.

Вайс спросил:

— Принести ваш чемодан?

— Да, конечно. — Приподнимаясь на локте, Папке осведомился: — Ничего не изъяли?

— Все в целости.

— А меня здорово выпотрошили, — пожаловался Папке.

— Что-нибудь ценное?

— А ты как думал! — Вдруг рассердился и произнес со стоном: — Я полагаю, у них на тайники особый нюх. — Заявил с торжеством: — Но я их все-таки провел. Этот, в тирольской шляпе, оказался настоящим другом. Перед тем как меня стали детально обследовать, я попросил его подержать мой карманный молитвенник. Сказал, что не желаю, чтобы священной книги касались руки атеистов.

— Ну что за шепетильность!

Папке хитро сощурился и объявил:

— Эта книжица для меня дороже всякого Священного Писания. — И, вынув маленькую книгу в черном кожаном переплете, нежно погладил ее.

— В таком случае, — осуждающе объявил Вайс, — вы поступили неосмотрительно, оставляя ее незнакомому лицу.

— Правильно, — согласился Папке. — Что ж, если не было другого, выхода... Но мой расчет был чрезвычайно тонким, и этот, в тирольской шляпе, мгновенно разделил мои чувства.

«Ну еще бы! — подумал Вайс. — Бруно давно тебя понял. И можешь быть спокойным, твой молитвенник он не оставил без внимания».

— Я благодарен тебе за услугу, — сказал Папке.

— Я сейчас принесу чемодан.

— Возьми свой саквояж.

— Надеюсь, все в порядке? — спросил Вайс.

— А у тебя в нем что-нибудь такое?

— Возможно, — сказал Вайс и, улыбнувшись, объяснил: — Кое-какие сувениры для будущих друзей.

Видно было, Папке тревожит этот вопрос, и Вайс понял, что тот не обследовал его саквояжа, значит, Вайс не вызывает у него никаких подозрений. И это было, пожалуй, самым сейчас приятным для Иоганна.

Вернувшись в свой вагон, Вайс забрался на верхнюю полку, устроился поудобнее, закрыл глаза и притворился спящим. Он думал о Бруно. Вот так Бруно! Как жаль, что он сопровождал Иоганна только до границы. С таким человеком всегда можно чувствовать себя

уверенно, быть спокойным, когда он рядом, даже там, в фашистской Германии. Вайс не мог знать, что когда-то Бруно немало лет прожил в этой стране. И некоторые видные деятели Третьей империи хорошо знали знаменитого тренера Бруно Мотце, обучившего немало значительных особ искусству верховой езды. Им не было известно только, что искусство это он в совершенстве постиг еще в годы гражданской войны в Первой Конной армии. Мотце был также маклером по продаже скаковых лошадей и благодаря этому имел возможность как-то общаться с офицерами немецкого генерального штаба, слушать их разговоры. Покинул он Германию в самом начале тридцать пятого года вовсе не потому, что ему угрожал провал. Просто его донесения значительно расходились с представлениями его непосредственных начальников о германских вооруженных силах. Будучи ярым лошадиником, Бруно Мотце — как ему объяснили его начальники — слишком преувеличивал роль танков в будущей войне. И поскольку доказать ему в порядке служебной дисциплины ничего не удалось, звание у него осталось то же, какое он имел в годы гражданской войны, командуя эскадромом. Всего этого Иоганн Вайс, разумеется, не знал. Бруно сделал то, что умел и мог сделать: обеспечил своему молодому соратнику так называемую «прочность» на первых шагах его пути в неведомое.

И Вайс снова почувствовал, что он здесь не один. И это осознание себя как частицы целого — сильного, мудрого, зоркого — принесло успокоение, освободило от нескончаемого напряжения каждой нервной клеточки, подающей сигналы опасности, которые надо было мгновенно гасить новым сверхнапряжением воли, чтобы твою реакцию на эти сигналы ни один человек не заметил.

И еще было приятно в эти минуты душевного отдыха похвастаться себе, что ты уже свыкаешься с собой теперешним, с Иоганном Вайсом, и постепенно исчезает необходимость придумывать, как в том или ином случае должен поступить Иоганн Вайс. Он — Вайс, созданный тобой, — повелевает каждым твоим движением, каждым помыслом, и ты доверился ему, как испытанному духовному наставнику.

Но тут же Иоганн вспомнил своего подлинного наставника-инструктора, его любимое изречение, которое раньше казалось скучной догмой: «Самое опасное — привыкнуть к опасности».

Инструктор-наставник жирно подчеркивал синим карандашом в информационных бюллетенях описание случаев, когда многоопытные разведчики проваливались из-за того, что в какие-то моменты, казалось, полной своей безопасностью, устав от постоянного напряжения, позволяли себе короткий роздых. Он терпеливо и подробно останавливался на каждой ошибке, но успешные, талантливые операции, какими бы выдающимися они ни были, комментировал странно.

— Это уже отработанный пар, — говорил наставник с сожалением. — Вошло в анналы... Действенно лишь то, что неповторимо.

В нашем деле изобретательность столь же обязательна, как и необходима. Близнецы — ошибка природы. Повторять пройденное — значит совершать ошибку. Учитесь работать воображением, но не злоупотребляйте им. Правда — одна лишь действительность, свяжитесь с ней каждый свой помысел, поступок. Самый надежный ваш союзник — правда естественности. Она высшая школа. Высший наставник. Она дает главные руководящие указания. Уклоняться от них — значит сойти с правильного пути, приблизиться к провалу.

Вспоминая уроки инструктора, Вайс внутренне благодарно улынулся этому уже пожилому человеку, отдавшему свою жизнь профессии, о которой не пишут в анкетах. Таким, как он, не присваивают профессорских званий. Их труды размножают всего в десятке экземпляров и хранят не на библиотечных полках, а в стальной неприступности сейфов.

Память инструктора берегла имена всех его учеников. Не называя их, инструктор обучал своих новых учеников на примере подвигов тех, кто, не рассчитывая ни на памятники, ни на лавры, поднялся ради отчизны на вершины человеческого духа.

Терпение, выдержка, организованность, дисциплина, последовательность, неуклонность в осуществлении цели — эти девизы, не однажды повторенные, прежде казались Иоганну педагогическими догмами. А как трудно руководствоваться ими, когда перед тобой возникает внезапно дилемма и ты должен решить, действительно ли то, что стоит на твоём пути, есть самое главное или это нечто побочное, второстепенное, мимо чего нужно пройти не задерживаясь.

Что такое Папке на его пути — побочное или главное?

Если постараться быть в дальнейшем полезным Папке, заслужить его расположение, может, откроется лазейка в гестапо? Стать сотрудником гестапо — разве это мало?

Проявить инициативу, рискнуть. Чем? Собой? Но тем самым он подвергнет риску задание, конечная цель которого ему неизвестна. Запросить Центр? Но у него нет разрешения на это и долго еще не будет. Значит, надо ждать, вживаться в ту жизнь, которая станет его жизнью, быть только Иоганном Вайсом, практичным и осмотрительным, который предпочитает всему скромную, хорошо оплачиваемую работу по своей специальности, уподобиться господину Фридриху Кунцу, его бывшему хозяину в Риге, стать владельцем собственной авторемонтной мастерской.

Небо было пасмурным, холодным, тусклым. Падал серый дождь, временами со снегом. Невспаханые поля походили на бесконечные болота. Казалось, поезд шел по пустыне. Позже Иоганн узнал, что населению запрещалось появляться в зоне железной дороги. Патрули с дрезины на ходу расстреливали нарушителей оккупационных правил. В Варшаву прибыли ночью, город был черным, безлюдным. Пассажирам не разрешили выйти из вагонов. По перрону и путям

метались огни ручных фонарей. Слышались отрывистые слова команды, топот солдатских сапог. Вдруг раздался взрыв гранаты, треск автоматных очередей. Потом все стихло.

Через некоторое время по перрону, стуча коваными сапогами, протопал конвой. В середине его согбенно плелся солдат, зажав под мышками ноги человека, которого он волок за собой по асфальту. Человек был мертв, широко распахнутые руки его мотались по сторонам. Потом появились полицейские с носилками — они несли трупы солдат, прикрывшие бумажными мешками.

Пассажиры смиренно сидели в вагонах, сохраняя на лицах выраженные терпеливого спокойствия. Казалось, все увиденное не произвело на них никакого впечатления.

Но за беспечным равнодушием, с каким они переговаривались о посторонних предметах, проглядывала судорожная боязнь обмолвиться невзначай каким-нибудь словом, которое потом могло повредить им. Было ясно: эти люди боятся сейчас друг друга больше, чем даже возможного нападения на поезд польских партизан.

Иоганн, внимательно наблюдая за своими спутниками, сделал для себя важный вывод: скрытность, осторожность, вдумчивое лицемерие, способность к мимикрии и постоянное ощущение неведомой опасности — вот общий дух рейха. И спутники Иоганна, заглазно проникшиеся этим духом, казалось, давали ему, Вайсу, наглядный урок бдительности и лицемерия как основных черт, типичных для благонадежных граждан Третьей империи.

Иоганн сделал и другое ценное психологическое открытие.

Когда полицейские несли трупы немецких солдат, убитых польским диверсантом-одиночкой, тощий паренек — сосед Иоганна — вскочил, поднял руку и крикнул иступленно:

— Слава нашим доблестным героям, не пожалевшим жизни во имя фюрера!

Хотя нелепость этого возгласа была очевидна: один убитый польский партизан и трое немецких солдат, погибших от взрыва его гранаты, не повод, чтобы предаваться ликованию, — пассажиры с восторгом подхватили этот возглас и стали громко и возбужденно воздавать хвалу вермахту.

Казалось, в сердцах репатриантов мгновенно вспыхнуло пламя фанатического патриотизма, и потом долго никто не решался первым погасить в себе бую восторженных переживаний, хотя уже иссякли эмоции, израсходованы были подходящие для такого случая слова и мускулы лица утомились от судорожного выражения восторга и благоговения.

Виновник этого высокого переживания уже успел забыть о своем патриотическом порыве. Он лежал на полке и, елозя по губам гармошкой, выдувал игривую песенку.

А когда гневная рука вырвала из его рук гармошку и пожилой



пассажир яростно закричал: «Встать, негодяй! Как ты смеешь пиликать в такие высокие минуты!» — паренек, побледнев, вскочил и дрожащими губами виновато, испуганно стал просить у всех прощения и клялся, что это он нечаянно.

И все пассажиры, забыв, что именно этот тощий парень вызвал у них взрыв патриотических чувств, бросали на него подозрительные и негодующие взгляды. И когда пожилой пассажир заявил, что за такое оскорбление патриотических чувств надо призвать юнца к ответственности и что он сообщит обо всем нахбарнфюреру, пассажиры одобрили такое решение.

Молчаливо наблюдая за своими спутниками, Вайс сделал открытие, что существует некая психологическая взрывчатка и если ее вовремя подбросить, то можно найти выход даже в очень сложной ситуации, когда сила ума уже бесполезна. Сочетание дисциплинированной благопристойности и бешено выражаемых эмоций — вот современный духовный облик прусского обывателя, и это тоже следует принять на вооружение. За духовной модой необходимо следить так же тщательно, как за покроем одежды, которая должна выражать не вкусы ее владельца, а указывать его место в обществе.

И еще Йоганн подметил, что у его спутников все явственнее сквозь оболочку страха, подавленности, подозрительности пробиваются черточки фюреризма — жажды любым способом утвердить свое господство над другими, воспользоваться мгновением растерянности окружающих, чтобы возвыситься над ними, и потом всякого, кто попытается противиться этой самозваной власти, жестоко и коварно обвинить в политической неблагонадежности. Но если поверженный покорно и беспрекословно подчинится, сулить ему за это покровительство в дальнейшем и некоторое возвышение над другими.

Так случилось с тощим малым. Пожилой пассажир, внезапно ставший главной персоной в вагоне, милостиво принял робкое заискивание неудачливого музыканта, снисходительно простил его. И затем долго со значительным видом внушал ему, что теперь каждый истинный немец должен воспитывать в себе черты, сочетающие послушание с умением повелевать. Ибо каждый немец на новых землях — представитель всевластной Германии, но перед фюрером каждый немец — песчинка. Одна из песчинок, которые в целом и составляют гранит нации.

Слушая эти рассуждения, Вайс испытывал острое чувство азарта, жажду проверить на практике свое новое открытие. Не удержавшись, он свесился с полки и небрежно заметил:

— А вы, оказывается, социалист!

Пожилой пассажир побагровел и стал тяжело дышать.

Вайс упрямо повторил:

— Не национал-социалист, а именно социалист.



Пожилой встревоженно поднялся и, осторожно касаясь плеча Вайса, сказал робко:

— Вы ошиблись.

Вайс сухо произнес:

— Мне жаль вас, — и отвернулся к стене.

В вагоне наступила тишина, пожилой пассажир, нервно покашливая, искал взглядом сочувствия, он жаждал поскорее разъяснить всю нелепость обвинения, но все от него отворачивались. А тощий юноша, мотая головой, извлекал из губной гармошки бойкие, игристые звуки.

## 5

На рассвете приехали в Лодзь.

Древнейшие польские земли, колыбель польского государства — Познанское воеводство, Силезия, Кувшия и часть Мазовии — были включены гитлеровцами в состав Третьей империи. Лодзь фашисты причислили к городам Германии.

На остальных землях Польши была создана временная резервация для поляков, так называемое генерал-губернаторство, которое должно было поставлять Германии сельскохозяйственные продукты и рабочую силу.

Лодзь — Лицманштадт — Фатерланд.

Это должен был понять каждый немецкий репатриант.

Это рейх.

И все славянское приговорено здесь к изгнанию, к уничтожению, к казни.

В сыром, сизом тумане, как тени, двигались силуэты людей. На перроне выстроились носильщики. Позади каждого из них стоял человек в штатской одежде. Репатриантов сопровождали в общежитие близ вокзальной площади и приказали не выходить. На следующий день их поочередно стали вызывать в центральный пункт переселения немцев — Айнвандерерцентральштелле. Эта организация, кроме политической проверки и оформления новой документации репатрированных, занималась также распределением репатриантов на работу по заявкам ведомств. Поэтому до прохождения всех стадий учета и проверки приезжие должны были находиться в специально отведенных помещениях — как бы в карантине. Для многих немцев это была и биржа труда.

От чиновников центрального пункта переселения зависела судьба репатриантов: кого на фермы, кого на заводы в промышленные районы Германии. Здесь же представители тайных фашистских служб встречали своих давних агентов, вроде Папке, и вербовали новых — тех, кто мог бы оказаться подходящим для этого рода службы.

Тщательно одеваясь перед визитом в центральный пункт, Вайс почти механически воспроизводил в памяти:

«Чиршский Карл, оберштурмбанфюрер СС, бывший сотрудник Дрезденского СД, заместитель начальника переселенческого отдела Главного управления имперской безопасности (РСХА). В Лодзи возглавляет переселение немцев из прибалтийских и других государств. Приметы: тридцать шесть лет, высокого роста, худощав.

Зандбергер, тридцать восемь лет, штандартенфюрер СС, начальник переселенческого отдела Главного управления имперской безопасности, постоянно проживает в Берлине, в Лодзи бывает наездами.

Редер Рольф, тридцать пять лет, оберштурмбанфюрер СС, среднего роста, блондин, нормального телосложения, лицо круглое, сотрудник СД по проверке немцев, переселяющихся в Германию из других стран...»

В этом мысленном путешествии по досье едва ли была сейчас практическая необходимость, но такая гимнастика памяти равнялась утренней умственной зарядке и освобождала голову от всяких побочных мыслей, не только утомительных, но и бесполезных в данной обстановке.

Предполагая, что допрос может превратиться в опасный поединок, Иоганн заставил себя, пока позволяло время, предаться полному умственному отдыху.

И он снова с улыбкой вспомнил своего наставника, который утверждал, что даже когда утром чистишь зубы, то и эти минуты следует использовать плодотворно — для размышлений. Наставник тщательно избегал служебного лексикона. Слова «подвиг», «героизм» он не употреблял, заменяя их другими: «работа», «сообразительность». Высшей похвалой в его устах звучало слово «разумно».

Доктор Редер Рольф сидел, развалившись в кресле. Черный эсэсовский китель расстегнут. Белая крахмальная рубашка туго обтягивает выпуклое брюшко. Рассматривая свои только что отполированные маникюршей ногти, не глядя на Вайса, сделал ленивый жест рукой.

Иоганн сел.

— Ну, что скажете?

— Я прибыл, чтобы отдать жизнь делу моего фюрера.

Редер неохотно поднял руку:

— Хайль! — Придвинул стопку анкет, приказал: — Пройдите в другую комнату и заполните.

Вайс взял анкеты, встал и, когда повернулся, внезапно почувствовал спиной, затылком прицельный, острый взгляд Редера. Томительно хотелось обернуться, чтобы встретить этот пронизывающий взгляд. Иоганн знал, что Гитлер верил в гипнотическую силу своего взгляда. И соратники Гитлера, перенимая манеру фюрера, тоже внушали себе, что обладают гипнотической силой. Иоганну хотелось

испытать, может ли он глубоким спокойствием своего взгляда погасить настойчивое намерение Редера читать чужие мысли. Но он тут же подавил в себе это ненужное желание, осторожно вышел и тихоноcko притворил за собой дверь.

Анкеты содержали вопросы, на которые он уже множество раз отвечал на занятиях: чем подтверждается немецкое происхождение, мотивы, побудившие к отъезду в Германию, — все это было давно, четко отработано.

И сейчас он стремился только к тому, чтобы заполнить анкету за то время, в каком нуждается человек, не подготовленный к вопросам, обдумывающий ответы. Сдав анкету чиновнику, Вайс ждал в приемной, предполагая, что теперь Редер займется им более основательно. Ждать пришлось долго. И когда наконец его вызвали, Иоганн был удивлен вопросом Редера:

— А, вы еще тут?

— Господин штурмбанфюрер, — твердо сказал Вайс, — я был бы счастлив, если б вы уделите мне несколько минут.

Редер нахмурился, лицо его приняло подозрительное выражение.

— Я хотел бы просить у вас совета, — коротко пояснил Вайс. — О вашем высоком положении в рейхе мне говорил господни крейслейтер Функ, у которого я работал шофером.

Крупное лицо Редера расплылось в самодовольной улыбке.

Иоганн продолжал, скромно опустив глаза:

— Как вам известно из моей анкеты...

— Да, там все в порядке, — небрежно бросил Редер.

— Господин Функ был доволен моей работой. Но я холост. И господин Функ говорил, что это несолидно — быть холостяком в моем возрасте. Не помешает ли это найти мне здесь хорошее место?

Редер, откинувшись в кресле, хохотал. Тугой живот его подскакивал.

— Ну и проstack же ты! — захлебываясь от смеха, твердил Редер. — Ему, видите ли, нужно благословение штурмбанфюрера!

Вошел чиновник. Редер кивнул на Вайса:

— Он просит меня найти ему девуку, чтобы начать немедленно плодить солдат для фюрера, а самому уклониться от военной службы. Ну и шельмец! — И махнул рукой в сторону двери.

Вайс с виноватым и растерянным видом откланялся и вышел.

Несколько минут спустя чиновник, усмехаясь, выдал ему документы, внушительно заметив при этом:

— Ты не из умников, но это не беда, если ты умеешь водить машину. Достаточно хорошей рекомендации, и, возможно, для тебя найдется место в нашем гараже. Моя фамилия Шульц.

— Слушаюсь, господин Шульц! Очень вам признателен.

Вернувшись в общежитие, Вайс с радостью узнал, что посыльный принес ему записку от Генриха. После прохождения проверки

репатриантам разрешили выходить и город. Вайс направился по адресу, указанному в записке.

Генрих занимал апартаменты в одном из лучших отелей. Он был не один: оберштурмбанфюрер Вилли Шварцкопф, как и обещал, встретил племянника и в этот же день собирался выехать с ним на машине в Берлин.

Генрих представил Вайса своему дяде. Тот, не подав Иоганну руки, небрежно кивнул головой с черной, зачесанной на бровь, как у Гитлера, прядью. Над толстой губой его торчали гитлеровские же усы. Был он тучен, лицо потасканное, под глазами мешки, одна щека нервно подергивалась.

На круглом столике, кроме обычного гостиничного телефона, стояли в кожаных ящиках два армейских телефонных аппарата, толстые провода их змеились по полу.

Генрих сообщил Вайсу, что уезжает в Берлин и, возможно, больше они не увидятся. Потом сказал покровительственно:

— Памятуй твои услуги моему отцу... Если ты в чем-нибудь нуждаешься... — И вопросительно посмотрел на дядю.

— Да, — сказал оберштурмбанфюрер, доставая какие-то бумаги из портфеля, на замке которого была цепочка со стальным браслетом, — можно дать ему денег.

Иоганна больно уколол пренебрежительно-снисходительный тон Генриха, та легкость, с которой его недавний друг расстается с ним. Он понял, что необратимо рвутся надежды, возлагаемые на дружбу с Генрихом, на возможность использовать Вилли Шварцкопфа, а ведь он на это рассчитывал, и не он один...

Вайс просиял и сказал с искренней благодарностью:

— Я очень признателен вам, господин Шварцкопф, и вам, господин оберштурмбанфюрер. Но если вы так добры, у меня маленькая просьба, — шелкнул каблуками и склонил голову перед Вилли Шварцкопфом. Произнес с просительной улыбкой: — У меня есть возможность получить место в гараже Айнвандерерцентральнойштелле. Ваше благожелательное слово могло бы иметь решающее для моей карьеры значение.

Вилли Шварцкопф поднял брови, туповато осведомился:

— Ты хочешь служить там шофером?

Вайс еще раз почтительно наклонил голову.

Вилли Шварцкопф взял телефонную трубку, назвал номер, сказал:

— Говорит оберштурмбанфюрер Шварцкопф. — Вопросительно взглянул на племянника: — Как его зовут? — Повторил в трубку: — Иоганн Вайс. Он будет работать у вас шофером... Да... Нет. Только шофером. — Бросил трубку, взглянул на часы.

Вайс понял, поблагодарил и дядю и племянника. У двери Генрих сунул ему в карман конверт с деньгами, пожал вяло руку, пожелал успеха. Дверь захлопнулась.

Вот и кончено с Генрихом, и все оказалось бесплодным — все, на что истрачено столько душевных сил, с чем связывалось столько далеко идущих планов. Есть ли здесь вина самого Вайса? И в чем она? Не разгадал душевной черствости Генриха? Был недостаточно напорист, недостаточно настойчив, чтобы занять место его доверенного наперсника? Недооценил влияния Функа, а потом и Вилли Шварцкопфа? Полагал, что пробуждающиеся симпатии Генриха к фашизму не столь быстро погасят его юношескую пылкость, его, казалось бы, искреннюю привязанность к товарищу?

Вайс понимал, что допустил не только служебную ошибку, которая, возможно, отразится на всей операции, но человечески ошибся, и эта ошибка оставит след в его душе. Как бы там ни было, а Генриху ему нравился своей искренностью, доверчивым отношением к людям, хотя эта доверчивость легко подчинялась любой грубой воле извне. Подъем чувств легко сменялся у него подавленностью, кротость переходила в наглость, он раскаивался, мучился, искренне презирал себя за дурные поступки, метался в поисках цели жизни. Вот эта порывистость, смятенность, недовольство собой и казались Иоганну человечески ценными в Генрихе, и он радовался, когда видел, что его осторожное влияние иногда сказывается в поступках и мыслях Генриха. Это привязывало Иоганна к молодому Шварцкопфу, и из объекта, на которого Вайс делал ставку, Генрих как-то постепенно превращался в его спутника. Если с ним и нельзя было делиться сокровенными мыслями, то, во всяком случае, можно было не испытывать чувства одиночества.

И вот все, что медленно, терпеливо подготавливал Иоганн, что составляло главное в разработке его замысла, оборвалось.

На другое утро Иоганн снова отправился на Центральный переселенческий пункт.

Шульц встретил его одобрительным смешком.

— А ты не такой уж простофиля, каким тебя посчитал господин оберштурмбанфюрер, — сказал он, похлопывая Иоганна по плечу. — Оказывается, ты знаком с оберштурмбанфюрером Шварцкопфом?

— Что вы, — удивился Вайс, — откуда я могу быть знаком с таким лицом! Но я работал у его брата, Рудольфа Шварцкопфа, и сын господина Шварцкопфа рекомендовал меня господину оберштурмбанфюреру.

— Хорошо, — благосклонно сказал Шульц. — Я прикажу взять тебя в наш гараж. Но кому ты этим обязан? Надеюсь, всегда будешь помнить?

— Весь в вашем распоряжении. — Вайс вскочил, щелкнул каблуками, вытянув руки по швам.

В этот день Вайс прошел процедуру оформления на службу в Айн-вандерерцентральштелле.

Комнату Иоганн получил в квартире фрау Дитмар, и не дорого. Вероятно, хозяйку подкупила кротость, с какой он принял ее неукоснительное правило:

— Никаких женщин!

Иоганн потупился и так целомудренно смутился, что хозяйка, фрау Дитмар, сжалившись, милостиво разъяснила:

— Во всяком случае, не в моем доме.

Иоганн пробормотал сконфуженно:

— Я молод, мадам, и не собираюсь жениться.

— Убирать свою комнату вы должны сами!

— Госпожа Дитмар, моя покойная тетя поручала мне заботы по дому, и, право... Вы убедитесь...

— Почему тетя?

— Я сирота, мадам.

— О! — воскликнула милостиво фрау Дитмар. — Бедный мальчик! — И, расчувствовавшись, предложила Иоганну кофе в крохотной кухне, блистающей такой чистотой, какая бывает только в операционной.

Невысокая, полная, круглолицая, с увядшими голубыми глазами навывкате и скорбными морщинками в углах рта, фрау Дитмар сохранила, несмотря на свой возраст, черты былой миловидности. Но по ее одежде, по манерам, по выражению лица можно было заключить, что она давно примирилась с тем, что ее женский век кончился.

За кофе в порыве внезапной симпатии, свойственной одиноким людям, уставшим от своего одиночества, она разоткровенничалась и стала рассказывать о себе.

Фрау Аннель Дитмар принадлежала к старинному немецкому роду, отпрыски которого со временем разорились и вынуждены были искать счастье на чужбине. Покойные родители ее прожили всю жизнь в Польше. Шестнадцати лет Аннель вышла замуж за инженера Иоахима Дитмара, который был старше ее на пятнадцать лет. Инженер был не из ловких и удачливых людей. Недостатки эти усугублялись его чрезмерной, шепетильной честностью, за которую ему приходилось не однажды подвергаться обвинениям в нечестности со стороны владельцев фирмы. Умер он от сердечного припадка после очередного оскорбления, нанесенного ему инспектором фирмы, — тот назвал его тупицей и глупцом.

Инженер Дитмар, в соответствии с технологией, дал указание использовать для изготовления деталей станков, экспортируемых за границу, высоколегированную сталь. Но это не отвечало политическим целям Германии и экономическим интересам фирмы.

Откуда господину Дитмару было знать, например, что с благословения Геринга начальник абвера Канарис через третьи страны наладил тайную продажу оружия испанским республиканцам с целью ослабить их боеспособность? Для этого в Чехословакии, в балканских

и других государствах были куплены старые винтовки, карабины, боеприпасы, гранаты. Все это привозили в Германию. Эсэсовские оружейники отпиливали ударники, портили патроны, уменьшали пороховые заряды в гранатах или же вставляли в них взрыватели мгновенного действия. После переделки непригодное оружие направляли в Польшу, Финляндию, Чехословакию, Голландию и перепродавали за золото испанскому республиканскому правительству.

Нечто подобное решили предпринять по своей инициативе владельцы фирмы, где служил Дитмар: они начали вырабатывать отдельные детали станков, предназначенных на экспорт, не из высоколегированной, как того требовала технология, а из низкокачественной стали. И таким образом фрау Дитмар стала вдовой. Сын ее, Фридрих, поступил в Берлинский университет, где обнаружили его блестящие способности к математике.

Но если отец чуждался политики, то сын предавался ей со страстью. Он преклонялся перед Гитлером, вступил в «гитлерюгенд», стал функционером организации.

Фрау Дитмар, давно осудив никчемность супруга, мечтала, что ее Фридрих поддержит честь семьи, займет достойное место в обществе и будет преданно покоить старость матери. Она отказывала себе во всем, чтобы дать ему возможность получить образование. И вот... За весь год Фридрих прислал ей только две поздравительные открытки: одну — на Пасху, другую — на Рождество.

Почти все это фрау Дитмар поведала Иоганну в первый же вечер, почувствовав расположение к одинокому и скромному юноше, чем-то напоминавшему ей сына, когда тот был еще мальчиком, ходил в школу и нежно любил свою мать, предпочитая ее общество компании сверстников.

Иоганн понял: фрау Дитмар втайне жаждала играть при нем роль матери и таким образом в какой-то мере утолить тоску о сыне. Она сказала, что была бы счастлива, если бы Иоганн согласился сопровождать ее по воскресеньям в кирху, на утренние богослужения, как это некогда делал ее Фридрих. По натуре это была добрая, мягкая, отзывчивая женщина.

Если бы даже столь выдающийся и опытный специалист, как Бруно, заранее готовил для Вайса наиболее удобное жилище, едва ли он мог бы найти лучшее, чем дом фрау Дитмар.

Итак, Иоганн в лице фрау Дитмар нашел квартирную хозяйку, каковую трудно предугадать даже в самых дальновидных планах. Ее душевное расположение к нему — защита от одиночества, а ее жизненный опыт и осведомленность о жизни города помогут избежать поверхностного суждения об окружающих его здесь людях.

В гараже, куда на следующий день пришел Иоганн за полчаса до начала работы, его встретили с явной неприязнью. Вскоре он догадался о ее причинах.



Нахбарнфюрер Папке выполнил свое обещание. В эсэсовском мундире он явился к начальнику гаража ефрейтору Келлеру, и, хотя тот уже получил от Шульца распоряжение зачислить Вайса в штат, Папке, со своей стороны, дал подобное же приказание.

Шоферы, механики, слесари, мойщики машин сторонились Иоганна, но вели себя при этом с почтительной настороженностью — так, как, по их мнению, следовало вести себя с протеже сотрудника гестапо, который здесь, в гараже, несомненно, будет выполнять функции тайного доносчика.

Вайс решил, что заблуждение сослуживцев ему на руку: изоляция избавит его от излишних расспросов и навязчивой дружбы — вряд ли кто захочет общаться с таким сомнительным типом, каким он был в их представлении.

Имелись преимущества и в независимости его положения. Если он вначале скажет что-нибудь не так или обнаружит неведение, это сочтут естественным для агента гестапо, и он может смело осведомляться о том, о чем профессиональному немецкому шоферу спрашивать было бы небезопасно.

Ну, и, конечно, если понадобится, можно сразу попробовать получить кое-какие поблажки. Келлер, этот пожилой и строптивый человек, полный чувства собственного достоинства, несмотря на иронические улыбки шоферов, первый протянул руку Иоганну и так горячо пожал, будто встретил долгожданного друга.

Вайс получил новенькую высокоосную чехословацкую «татру» с мотором воздушного охлаждения — машину, приспособленную к армейским нуждам, со специальными креплениями в передней и задней части корпуса для установки пулемета.

Несмотря на то, что машина была уже освобождена от заводской смазки, Вайс заново вычистил детали. В свое время он прошел курс обучения на всех марках машин, выпускаемых в Германии, но никто тогда не предполагал, что Германия захватит Чехословакию и ему придется работать на чехословацких машинах; поэтому Иоганну пришлось напрячь всю свою техническую смекалку, чтобы после пробного выезда с честью овладеть «татрой». И, конечно, он допустил вначале кое-какие оплошности.

В гараже существовали свои неписанные правила.

Никто из немецких шоферов не садился за руль в той же спецовке, в которой готовил машину к выезду.

Никто, находясь в гараже, не пользовался своим комплектом инструментов — брали гаражный, хотя он был значительно хуже. В туалетной комнате висело на деревянных роликах полотенце. Все им вытирались в течение рабочего дня, но, собираясь домой, каждый вынимал свое собственное полотенце.

Если обращаешься к кому-нибудь за советом или помощью, надо



тут же угостить сигаретой, а если занял больше времени — отдать всю пачку.

Кое-кто из шоферов не считал для себя зазорным воровать бензин, цена которого была баснословна, и торговать им на «черном» рынке, но если забудешь в гараже зажигалку или что-нибудь другое, на следующий день потерянное будет лежать на прилавке проходной.

Первым нужно здороваться только с ефрейтором Келлером и механиком гаража, с шоферами — по выбору, но слесари и мойщики машин обязаны первыми приветствовать шоферов, особенно тех, кто возит начальников.

Вильгельм Брудер, шофер штурмбанфюрера Редера, был фигурой более значительной, чем Келлер, и с ним почтительно раскланивались все без исключения, а он не всегда находил нужным отвечать.

Иоганн, несмотря на то, что все это еще более упрочило неприязнь к нему сослуживцев, успевал прежде других шелкнуть своей зажигалкой, когда Брудер еще только вынимал из кармана сигареты.

Хотя Иоганн не был личным шофером кого-либо из начальства и, значит, не имел покровителя, тень Папке служила ему прикрытием от возможных столкновений с сослуживцами.

Поездки Вайса пока ограничивались только районами города, и возил он главным образом незначительных служащих Центрального пункта переселения немцев, очевидно уведомленных Келлером, что при этом шофере болтать лишнего не следует. Иоганн и перед этими людьми старался зарекомендовать себя с лучшей стороны: почтительно открывал дверцу, помогал нести чемоданы, осведомлялся о желаемой пассажиру скорости. Но когда какой-нибудь словоохотливый пассажир пытался вступить с ним в беседу, даже на патриотические темы, Иоганн от разговоров уклонялся, вежливо сославшись на уставные правила. Получив первое жалованье, он пригласил в ресторан Брудера, Келлера и водителя полугрузовой бронированной машины Карла Циммермана, занимавшего особое положение в гараже, так как никому не было известно, в каком ведомстве он служит.

Иоганн заметил, что китель Циммермана на животе с обеих сторон оттопырен двумя пистолетами, а в кабине его машины на специальной держалке укреплен граната и с потолка свешиваются кожаные петли, в которых лежит автомат. Никто в гараже не имел права касаться машины Циммермана — он готовил ее сам, и вызов ему привозил обычно мотоциклист. Каждый раз, получив вызов, Циммерман расписывался в приказе и возвращал его мотоциклисту.

Иоганн решил: самым правильным будет, если он не станет ничего заказывать в ресторане, а скромно предложит гостям сделать выбор по собственному их вкусу.

Циммерман, подчеркивая, что здесь он себя считает самым главным, и для того, чтобы дать другим почувствовать это, громко объявил, самодовольно поглядывая на Келлера:

— Не бойся, если даже тебя пьяного задержит патруль, я скажу им такое, что они отсалютуют тебе, как генералу. — И подмигнул Иоганну.

Циммерман, Келлер и Брудер оказались мастаками по части даровой выпивки. Пиво со шнапсом — это был только первый заход. Иоганн понимал, что три таких разных человека, впервые собравшиеся вместе, как бы они ни были пьяны, не станут откровенничать друг с другом. Наивно было бы полагать, что шнапс развяжет им языки. И не на это рассчитывал Вайс. Он знал: новичку положено угостить сослуживцев — он просто следовал традиции.

Иоганн никогда еще не напивался, а в тех случаях, когда приходилось это делать, умел себя контролировать. И сейчас он как бы со стороны с любопытством следил за всеми стадиями собственного опьянения. Вместе с опьянением к нему пришла какая-то удивительная легкость. Он наговорил столько приятного своим собутыльникам, что к концу вечера те искренне стали испытывать к нему дружеские чувства.

Фрау Дитмар очень огорчилась, открыв Иоганну дверь и почувствовав запах спиртного. Говорила, что считает себя как бы матерью Иоганна и не может себе простить, почему не предложила ему пригласить гостей домой: ведь в ее доме она никогда не позволила бы ему пить шнапс. Она была так взволнована, так огорчена всем происшедшим, что всю ночь держала на голове холодный компресс, пила сердечные капли. Наутро Иоганн просил у нее прощения с той искренностью и тем чистосердечием, с какими уже многие месяцы ни к кому не обращался.

## 6

Однажды в пасмурный, дождливый день, случайно проходя мимо бюро по найму прислуги, Вайс встретил баронессу, соседку Генриха по купе. Она приехала в пароконной коляске из замка, ранее принадлежавшего знаменитому польскому роду и отданного теперь ей в собственность генерал-губернаторством взамен оставленного в Латвии небольшого имения.

Баронесса была чем-то расстроена, похудела, морщины на ее лице углубились, кожа повисла складками. Одета она была в меха и небрежно ступала по лужам в своих замшевых туфлях с перламутровыми пряжками.

Баронесса с первых же слов разоткровенничалась. Должно быть, она чувствовала себя одинокой здесь и рада была увидеть знакомое лицо.

Узнав теперь, что Вайс был не просто шофером Шварцкопфа, а как бы военным чином, и что хозяин его — важная персона, она окончательно прониклась к нему доверием. Среди прочей болтовни она

поведала Вайсу о своих тревогах. Она подозревает, что у бывших владельцев замка есть родственная ветвь в Англии и это может ей повредить впоследствии. В сущности, она не одобряет конфискации имущества у польской аристократии, и хотя славянство — низшая раса, к древним родам расовый принцип неприменим. И если некоторые польские аристократы фрондируют сейчас своим патриотизмом, то это не представляет опасности для рейха. Это вполне благо-разумный патриотизм. А вот надежды польских мужиков на Россию — это опасно...

На прощание баронесса милостиво пригласила Иоганна в замок и пообещала, что управляющий угостит его хорошим обедом.

После пирушки в ресторане Вайс заметил, что его дружеские отношения с Келлером, Брудером и Циммерманом затруднили общение с рядовыми работниками гаража. И это было ему очень горько.

Вначале они чуждались Вайса и говорили только то, что было необходимым по ходу работы.

Но потом, как это всегда бывает, труд сблизил их с Вайсом. Люди труда проникаются доверием к человеку, если видят в его рабочих повадках подлинное мастерство.

Вайс знал термитную и газовую сварку, умел определить марку стали по излому, с точностью лекальщика отшлифовать деталь, и эти универсальные знания удивляли немецких рабочих, восхищали их, хотя вначале они не подавали виду.

Многому Белов научился на заводе, где работал и отец, но большую часть своего умения он обрел в институтской лаборатории, где занимался в студенческом научном кружке под руководством академика Линева.

Сначала из немногословных реплик Вайс узнал, что Венер — участник Первой мировой войны, был тяжело ранен на Восточном фронте и какой-то русский солдат, тоже раненый, полегче, взял его в плен, повел, а потом, после того как покурили, сидя в осыпавшемся окопе, махнул рукой и ушел, забрав только винтовку Венера.

Вайс сказал:

— Значит, среди русских попадаются хорошие люди. По этот, наверное, не был большевиком.

Венер долго не отвечал, будто увлеченный работой, мотом спросил:

— Ты не знаешь, какое правительство предложило нам тогда мир?

— Кажется, большевики.

— Кто же тогда был тот солдат, который меня отпустил?

Вольф Винц, низкорослый, широкоплечий, сутулый, со сломанным носом, долго не шел на откровенные разговоры.

Но однажды вечером, когда они вдвоем остались в гараже, Винц спросил Иоганна:

— Вот ты, молодой и ловкий малый, почему работаешь, как мы, а не в СС, не в гестапо, — вот где такому парню лестница вверх.

— А ты почему по ней не лезешь?

— Я рабочий.

— И тебе это нравится — быть рабочим?

— Да, — сказал Винц. — Нравится.

— А где нос перешиб, на работе?

— Да, — сказал Винц, — на работе. Неаккуратно вправляли мозги, вот и поломали.

— Кто?

— Да уж кому положено.

— Понятно, — сказал Вайс.

— Что именно?

— Смелый ты парень.

— Это потому, что такое говорю? — Винц усмехнулся. — Не видел ты, значит, настоящих смелых ребят.

— Да, я не был на фронте, — нарочно снаивничал Иоганн.

— Они не на фронте.

— А где?

— В гестапо!

— Да, ребята там крепкие, — сказал Иоганн, внимательно глядя на Винца, и добавил с улыбкой: — Ты ведь это хотел сказать.

Винц тоже улыбнулся и похвалил:

— А ты действительно ловкий парень, не из тех, кто плюет товарищу под ноги.

— И ты не из таких.

— Правильно, — согласился Винц. — Угадал в самую точку.

Иногда Вайс после работы заходил со своими напарниками в пивнушку, где они чинно, неторопливо отхлебывали пиво из больших кружек и вели разговоры о своих семьях, вспоминали о доме, читали полученные письма.

Однажды Иоганн спросил, будет ли война с Россией.

Венер ответил загадочно:

— Бисмарк, во всяком случае, не советовал.

Винц сказал:

— А он плевать хотел на твоего Бисмарка. Возьмет и прикажет, сегодня или завтра прикажет.

— А будет еще послезавтра, — уклончиво сказал Венер.

— И что тогда? — попытался Винц. — Что послезавтра будет?

— Может, ты хочешь, чтобы я встал и начал орать на всю пивную то, что будет? — рассердился Венер.

Винц, внимательно глядя на Иоганна, поднял кружку:

— Будь здоров! — И выпил до дна.

Иоганн тоже выпил до дна, но счел нужным заявить на всякий случай:

— За тебя и за нашего фюрера.

— Ох и ловкий ты парень! — сказал Винц. — Тебе бы в цирке работать.

Уважение рабочих гаража Вайс приобрел благодаря своему умению спокойно, без лишних разговоров выполнять сложную техническую работу по ремонту машин. Вместе с Винцем и Венером он восстановил разбитую передвижную электростанцию, смонтированную на кузове грузовика с мощным дизельным двигателем.

Сдавая отремонтированную электростанцию военному инженеру, Вайс удостоился не только похвал, но и денежной награды.

Вечером в той же пивной он разделил деньги между своими напарниками.

Венер и Винц заказали свои обычные большие кружки пива и, как всегда, чинно, протяжно отхлебывали маленькими глотками, заглядывая напиток вместе с горьким дымом сигарет. Но когда вышли на улицу — оба они, явно не сговариваясь заранее, запротестовали, требуя, чтобы Иоганн взял себе большую долю из полученных денег.

— Но почему? — спросил Вайс.

— Знаешь, парень, — строго сказал Венер, — ты у себя в Прибалтике нанюхался социализма. А у нас здесь совсем другой запах.

— Дерьмом воняет, — объяснил Винц. — И ты еще к нему не принялся.

— Ну, вот что, — сказал Иоганн. — Мой нос сам мне скажет, где чем пахнет, а вы катитесь.

— Значит, не возьмешь свои деньги?

— Вот что, — сказал Иоганн, — ничего я вам не давал. А только заплатил. Заплатил, понятно?

— Так много?

— А это — мое дело. Я хозяин, я плачу.

— Значит, ты из этих, кто хозяева?

— Да, — сказал Иоганн, — именно из этих.

— Значит, не возьмешь?

— Нет.

Они долго молча шли по темной, с погасшими фонарями улице. И вдруг Винц с силой хлопнул по спине Вайса и сказал:

— А ты, Иоганн, настоящий немецкий рабочий парень, таких у нас в Руре было когда-то немало.

— В Гамбурге тоже, — добавил Венер.

И впервые за все это время Иоганн испытал искреннюю радость оттого, что его признали немцем...

Постепенно Иоганн убедился, что чем выше положение того или иного лица, тем меньше оно расположено к откровенности. Пропорционально занимаемой должности увеличивается тайный контроль за ним. Чем значительнее персона, тем длиннее хвост агенту-

ры. И этот хвост может захлестнуть Иоганна петлей, если он, еще недостаточно защищенный, будет в нее соваться.

Наблюдая и размышляя, Вайс установил для себя любопытную и очень полезную истину: чем выше занимаемая должность, тем вышекомерней обладатель ее относится к подчиненным и тем строже требует соблюдения тайны различного рода информации. Но высокомерие, проявляемое к ближайшим подчиненным, в отношении мелких служащих приобретает зачастую характер пренебрежения к ним. И подобно тому, как немецкий генерал никогда не позволит себе выйти к офицеру без кителя, а перед солдатом не считает неприличным расхаживать в нижнем белье, так и вышестоящие чины в присутствии низших служащих не слишком строго соблюдают правила сохранения служебной тайны.

В служебной системе, где старшие зачастую передоверяют младшим свою работу, в тщательно продуманной и безукоризненной схеме имелись точечные организмы, которые, будучи по своему положению низшими чинами, выполняли ответственную работу.

Эти «организмы» готовили отчеты, донесения, сводки, доклады. Все они были людьми большей частью образованными, готовыми безотказно трудиться в тылу, считая высшим благом уже одно то, что их не посылали на фронт.

Вот с такими служащими-солдатами Вайс стремился сблизиться. Но пока не знал, как.

И еще. В оккупированной Польше немецкие офицеры не только упивались сознанием своего всевластия, но и стремились обставить пребывание здесь с наибольшим комфортом. Даже недавние кадеты из бюргерских семей, приученные с детства к скудному домашнему обиходу, обзавелись тут прислугой и превращали своих денщиков в лакеев. И чем выше занимал должность офицер, тем больше людей его обслуживало.

Повара, лакеи-денщики, горничные пользовались большим расположением старших офицеров, чем младшие офицеры. И эта публика была осведомлена о своих хозяевах лучше, чем самые приближенные лица.

То была настоящая каста. Строевики презирали ее, и только штабные чиновники понимали особое влияние этой касты, которой опасно было пренебрегать.

В эту специфическую среду Вайс хотел проникнуть, но, понимая свое особое положение, люди этой среды держали себя с кастовой замкнутостью.

И Вайс с усмешкой думал, что, если бы баронесса вдруг решила принять его как равного и представила своим знакомым, он знал бы, как держать себя с немецкой аристократией, — книги, фильмы, тренировки служили для этого надежной основой. А о немецкой прислуге он был осведомлен гораздо меньше. Ему предстояло на прак-

тике изучить эту новую для него социальную прослойку. Попытки найти ключ к тайнам этой среды с помощью фрау Дитмар окончились безуспешно. Фрау Дитмар заявила с негодованием:

— Прислуга — это враг в доме. Я стала обходиться без прислуги с тех пор, как моя кухарка сделала мне замечание. Она посмела сказать, что если я не буду к возвращению мужа с работы красиво причесываться, он оставит меня. Это наглецы, соглядатаи в семье!

Жизненный опыт Вайса не давал ничего полезного в познании людей этого рода. И если у некоторых его знакомых и были домработницы, то они находились скорее в положении члена семьи, от которого зависят все остальные, пребывающие, кроме того, в непрерывном тревожном ожидании, что вот-вот домработница объявит: с такого-то дня она студентка, или продавщица, или уезжает на новостройку.

Сотни машин съезжались каждую субботу вечером к продовольственному цейхгаузу за пайками, размеры и ассортимент которых соответствовали званию и должности того или иного лица. Пайки для своих хозяев получали кухарки, денщики, повара. Но им не полагался транспорт, и предлагать кому-либо из них свою машину было неосторожно.

Как-то Иоганну посчастливилось навязаться в помощники ефрейтору, выдающему на складе обеденные сервизы из трофейного фонда. Но завязать знакомства не удалось. Слуги с такой жадностью расхватаывали сервизы, так спорили, кто из их хозяев чего достоин, что, кроме унижения, это общение ничего не дало Вайсу. Правда, кое-что в процессе этого короткого знакомства его заинтересовало. Когда адъютант гаулейтера Польши захотел взять старинный французский сервиз на сто персон, ефрейтор не разрешил и грубо сказал адъютанту, что у того руки коротки.

— Этот сервиз предназначен... — и многозначительно закатил глаза под лоб.

И адъютант, так же многозначительно кивнув, послушно согласился взять сервиз попроще.

Значит, в Польшу должен прибыть если не Гитлер, то кто-то из его приближенных. Но кто? Куда? Когда?

Все вечера Иоганн проводил дома, в обществе фрау Дитмар. Беседы с ней обогащали его сведениями о том образе жизни, который вели здесь немцы, так же, как и в Латвии, державшиеся в Польше замкнутой колонией, сохраняя традиции старонемецкого обихода.

Фрау Дитмар рассказывала, как напугал вначале многих местных немцев приход фашистов к власти. Но расправы с коммунистами, рабочим движением в Германии успокоили даже тех, кто считал Гитлера авантюристом. Потом снова началась полоса страха, боязнь, что агрессивный захват Гитлером Чехословакии и Польши вызовет вступление в войну Англии, Франции и России. И тогда неизбежно

новое поражение Германии. Но теперь, когда Англия и Франция без всякого сопротивления уступили Польшу, даже старинные прусские наследственные семьи военных не только стали сторонниками Гитлера, но провозгласили, что гений Фридриха Великого воплощен в фюрере. И, возможно, это так, заключила фрау Дитмар, потому что астрологи, приехавшие сюда из Берлина, подтвердили, что приход Гитлера к власти предсказан свыше.

— А вы верите в астрологию? — спросил Вайс.

Фрау Дитмар заявила с достоинством:

— Я христианка. Верю в Бога. Но почему Гитлер не может быть посланцем Бога? Новым Иисусом? Так назвал проповедник нашего фюрера.

— И вы тоже считаете его сыном Божиим?

— Господи Милосердный! — сердито сказала фрау Дитмар. — Но откуда он мог еще взяться? Все мы дети Иисуса!

Из этого Иоганн сделал вывод, что даже милейшая и добрейшая фрау Дитмар, обещавшая заменить ему мать, с материнской заботой относящаяся к нему, — даже она не решается быть искренней, когда разговор заходит о политике. И она, считая себя матерью Иоганна, боится, что названный сын предаст ее.

Да, не так легко пробить этот панцирь недоверия каждого к каждому. Все, словно черепахи, таскают на себе его костяную, твердую скорлупу, чтобы прятаться под ней, как пресмыкающиеся, и выжить, выжить, выжить...

И все-таки не кто другой, как фрау Дитмар, помогла Иоганну проникнуть в среду, куда он до сих пор тщетно пытался попасть.

Когда он после окончания богослужения подъехал к кирхе, похожей на гигантскую ледяную сосульку или на сталагмит, из ее высоких арочных дверей вышла фрау Дитмар под руку с дамой в накидке из беличьего меха. Фрау Дитмар представила Иоганна даме, сказала, что та служит экономкой у полковника фон Зальца и что она знакома с фрау Марией Бюхер очень давно — еще с детства.

Сначала Иоганн доставил домой фрау Дитмар, а потом повез Марию Бюхер в центр города, в особняк полковника фон Зальца.

В ответ на вежливым, заданный безразличным тоном вопрос «Как вам здесь живется?» Вайс словоохотливо изложил свое жизненное кредо. Знакомых у него нет никого, сослуживцы — плохо воспитанные люди. Все вечера он проводит с фрау Дитмар. Пользуясь книгами ее сына, немного занимается. После военной службы хотел бы открыть свое дело; у него есть опыт механика, и он мог бы неплохо зарабатывать, если бы удалось приобрести небольшой гараж, чтобы оборудовать там авторемонтную мастерскую.

Мария Бюхер слушала его рассеянно, казалось, ее совершенно не интересуют жизненные планы молодого человека. Но когда они приехали, фрау Бюхер вдруг спросила весьма заинтересованно:



— У вас есть средства, чтобы купить такую мастерскую?

— У меня есть голова, — хвастливо сказал Вайс.

— О, этого, к сожалению, недостаточно, — снисходительно заметила фрау Бюхер. Но тут же добавила: — Но голова у вас есть, и очень неплохая, если в ней такие солидные мысли. — Помедлив, сказала решительно: — Вы сейчас выпьете со мной чашечку кофе.

Она вышла из машины, открыла ключом железную калитку в сад, поднялась с черного хода в свою комнату, обставленную хорошей мебелью, но некрасиво загроможденную чемоданами и ящиками, аккуратно обитыми железными полосами.

Сняв беличью накидку, фрау Бюхер предстала перед Вайсом в голубом платье из тонкого джерси, наглядно демонстрирующем все выпуклости ее могучей фигуры.

Угощая Вайса кофе, домоправительница так кокетничала с ним, вела разговоры на столь игривые темы, что Вайс затосковал, поскольку ни за что не решился бы проложить дорогу в недоступную ему средой ценой такого самоотверженного подвига.

Но, к счастью, мадам Бюхер столь же стремительно перешла от фривольной болтовни к делу. Уже совсем другим тоном она сказали, что ее дочь — очень милая девушка, окончившая гимназию, работает переводчицей у полковника, она тоже, как Вайс, военнослужащая. Полковник занимает важный пост в абвере и по роду своей деятельности уезжает надолго, поэтому у дочери бывает свободное время, которое она могла бы проводить с приличным юношей, конечно в обществе матери. В заключение мадам Бюхер сказала, что сообщит через фрау Дитмар, когда Вайс сможет снова навестить ее.

## 7

Профессиональных шоферов в гараже было мало. Большинство устроились в тыловой части с помощью различных махинаций и восполняли недостаток опыта униженной угодливостью перед начальством и ревностным шегольством друг перед другом в преданности фюреру.

Бывшие лавочники, сынки фермеров, владельцы кустарных мастерских, хозяева пивных заведений и дешевых гостиниц, лакеи и официанты, комиссионеры и маклеры безвестных фирм — люди подозрительных профессий — все они имели надежные социальные, политические и бытовые преимущества перед рабочими, слесарями и механиками, жившими на казарменном положении в гараже.

Однажды старший писарь штаба транспортной части Фогт приказал Иоганну найти специалиста по ремонту пишущих машинок. Иоганн предложил свои услуги. И не только наладил и вычистил машинку Фогта, но приятно поразил его грамотностью и той скоро-

стью печатания, какую продемонстрировал, проверяя отлаженность машинки. И Фогт решил взвалить на рядового солдата часть той работы, которая была ему поручена в эти дни. Эксплуатация старшим младшего считалась здесь в порядке вещей и пронизывала все сверху донизу. Он приказал Вайсу явиться вечером в канцелярию, но предупредил, чтобы об этом никто не знал.

Фогт устроился на диване, подложив под голову — свернутую шинель, и стал диктовать Вайсу списки солдат, отчисленных из различных транспортных подразделений для укомплектования ударных частей. Строго предупредил, что все это абсолютно секретные материалы.

Печатая, Иоганн быстро усваивал и запоминал наиболее важные сведения: помогла длительная тренировка, которую он проходил, чтобы почти автоматически, с первого чтения, запоминая до десятка страниц. И как же он в эти часы мысленно благодарил своего наставника, который утверждал, что чем больше у разведчика самых неожиданных профессиональных познаний, тем больше открывается перед ним возможностей для маневра и тем меньше его зависимость от посредников. В свое время, когда Иоганн хорошо овладел пишущей машинкой, наставник оценил это достижение выше его успехов по освоению оружия иностранных марок.

Ночью Иоганн сделал записи, зашифровал их, перенес шифровки на страницы одной из книг сына фрау Дитмар, поставил книгу на самую верхнюю полку шкафа и лег спать с понятным чувством удовлетворения: работа была начата удачно.

К сожалению, в остальном Иоганну не слишком везло. Келлер, охладев к Вайсу, так как не получал новых подтверждений связи шофера с гестаповцем Папке, пересадил его на грузовую машину.

И Вайс был вынужден возить на вокзал ящики и тюки с различными вещами, захваченными начальствующим составом в городе, грабеж которого осуществлялся тщательно и аккуратно, по заранее разработанному плану. Специальные лица ведали учетом всего, что представляло хоть какую-нибудь ценность.

Распределение этих ценностей производилось в точном соответствии с положением, званием, должностью тех, кто был достоин пожинать плоды побед вермахта.

Старшие военные офицеры, получив от знакомых гестаповцев или контрразведчиков абвера сведения о том, кто из поляков подлежит репрессии, спешили посетить их под предлогом вселения к ним в квартиру кого-нибудь из своих подчиненных. И после пытливого обследования картин, фарфора, старинной мебели, бронзы делали отметки у себя в записных книжках. Не стеснялись открывать шкафы с одеждой, осведомляться, представляют ли ценность дамские меховые шубы, накидки. А после произведенной репрессии приходили снова и давали указания родственникам, как следует упаковать

отобранные ими вещи, чтобы они не были повреждены при транспортировке в Германию.

И эти рыцари вермахта — потомки прусских чванных юнкеров, кичившихся тем, что воинская служба — дорога чести, со следами шрамов на лице от дуэлей, поводом для которых служил малейший намек, якобы задевающий их личную честь, — сидя посреди чужой гостиной на стуле, поставив между ног, туго обтянутых галифе, дедовскую саблю, настороженно следили за тем, как родственники людей, быть может уведенных на казнь, дрожащими руками заворачивали в солому, в бумагу, в вату различные фамильные ценности.

Наиболее дотошные заставляли этих несчастных людей не только составлять опись изъятых предметов, но и пространно описывать их старинное происхождение и подтверждать данные ими сведения своими подписями.

Иоганн не имел права останавливаться на всем маршруте до вокзала. После выгрузки машину тщательно осматривали, поднимали сиденье в шоферской кабине, раскрывали ящики с инструментом. Солдат мог оказаться вором. Офицер — никогда.

И когда Иоганн стоял с грузовиком у дома, из которого выносили имущество, он ощущал взгляды одиноких прохожих, падающие на лицо, как плевки. В такие минуты он старался думать только о своем первоначальном и длительном задании: он должен, должен упорно, настойчиво и покорно вживаться в эту жизнь и, сохраняя при этом полную пассивность, стать Иоганном Вайсом, искать расположения окружающих, научиться быть дружески искательным по отношению к ним, даже в наци находить человеческие струнки, чтобы играть на них...

Вайс давно не встречался с Папке. Неожиданно тот явился в гараж и, странно, конфузливо улыбаясь, сказал, что в Лодзи теперь уже почти никого из рижан не осталось, а он соскучился по землякам. Не проведет ли Иоганн с ним вечер?

Все вечера Вайса были заняты штабной канцелярией. Фогт эксплуатировал его, как мог. Но разве не укрепится доверие старшего писаря к шоферу, если унтерштурмбанфюрер гестапо прикажет освободить ему вечерок?

Зима началась ранними сумерками, мокрым, каким-то гнилым снегом, растекавшимся скользкой слизью по тротуарам. Не так давно на электростанции была обнаружена организация Сопротивления. Участников ее расстреляли. Новые работники, проверенные гестапо, очевидно, отличались благонадежностью, но не техническими знаниями. Свет в уличных фонарях то начинал набирать такую ослепительную силу, что казалось, лампы, не выдержав напряжения, вот-вот начнут взрываться, словно ручные гранаты, то увя-

дающе блекли, то игриво подмигивали, то испуганно мелко и часто трепетали, и по улицам, как призраки, металась тень.

Внушительно, ритмично бухали каблуки патрулей. Гулкое их звучание было схоже со звуком, какой издает молоток, забивающий крышку гроба. Торжествующий марш тупого, бесчеловечного, словно вытесанного из камня символа грубого насилия.

На лица прохожих внезапно падал белый диск, как бы выстреленный из ручного фонаря патрульного, из темноты выскакивало искаженное страхом лицо человеческого, еще более, чем страхом, изуродованное попыткой воспроизвести конвульсию улыбки. Слепленные глаза моргали, как у смертника. Бесшумно, почти мгновенно возникнув, лица так же бесшумно и мгновенно исчезали, чтобы снова возникнуть и исчезнуть, их ритмически-последовательное появление почти совпадало с тяжелой поступью патрулей.

Казалось, эти лица исчезали не оттого, что гас фонарь патрульного, а от одного тупого звука каблуков, втаптывающих в землю самую душу польского народа, распластанную, распятую. И не по земле — по живому телу народа шествовали наци.

Предавшись горестному созерцанию порабощенного города, Иоганн рассеянно слушал ворчливое бормотание Папке и несколько раз отвел невпопад. Поймав себя на этом, он с усилием освободился от наваждения и, снова становясь Вайсом, спросил бодро:

— Как ваши успехи, господин унтерштурмбанфюрер? Надеюсь, все хорошо?

Папке загадочно усмехнулся и вдруг сказал добродушно:

— Когда мы наедине, можешь называть меня Оскаром. У меня было два-три приятеля, которые называли меня так.

— О, благодарю вас, господин унтерштурмбанфюрер!

— Оскар! — напомнил Папке и произнес уныло: — Один из них стал штурмшарфюрером и теперь не снисходит до того, чтобы назвать меня Оскаром, а я не осмеливаюсь назвать его Паулем. Другой попал в штрафную часть, и если б даже довелось встретиться с ним, я не позволил бы ему обратиться ко мне по имени.

— А третий?

Папке сказал угрюмо:

— Я предупреждал его — не говори мне лишнего, а он все-таки говорил. Я выполнил свой долг.

— Понятно. А если я позволю себе в разговоре с вами лишнее?

Папке задумался, потом сказал, вздохнув:

— В конце концов, я могу прожить и без того, чтобы кто-нибудь звал меня Оскаром. Хотя мне бы очень хотелось иметь приятеля, который бы меня так называл.

Вглядываясь в физиономию Папке, Вайс заметил новое, ранее не свойственное ей выражение печали, разочарования. Маленький сморщенный подбородок был уныло поджат к обиженно отвисшей тол-

стой нижней губе, на низком лбу сильнее обозначились складки морщин, веки опухли, глаза в красных, воспаленных жилках. Папке шел, волоча ноги, не приветствуя даже старших по званию, — очевидно, знал, что с гестаповцами ни у кого нет охоты связываться. Зябнувшие руки глубоко засунул в карманы шинели, низко надвинутая фуражка с высокой тульей сильно оттопыривала большие волосатые уши.

Папке сказал, что ему не хочется идти в солдатскую пивную, а в офицерское казино Вайса не пустят, и вообще лучше посидеть где-нибудь в укромном местечке, чтобы свободно поговорить о прошлом, — ведь, право, в Риге они жили не так уж плохо.

Не долго думая, Вайс пригласил его к себе.

Папке понравилась фрау Дитмар, даже ее явную неприязнь к нему он счел признаком аристократизма. В комнатке Иоганна он поставил на стол добытую из кармана бриджей бутылку шнапса и, прикладывая зябнувшие руки к кафельным плиткам голландской печи, в ожидании, пока Иоганн приготовит закуску, жаловался, что здесь его недостаточно оценили. Он рассчитывал на большее — и по званию и по должности. Сказал, что Функ — мошенник.

Папке предполагал, что Функ был двойным агентом — гестапо и абвера, но, по-видимому, ставку делал на абвер. И наиболее ценные сведения по неизвестным каналам связи сплавлял абверу, где Канарису удалось собрать все старые агентурные кадры рейхсвера — техников, специалистов с опытом Первой мировой войны. Канарис мечтает стать главным доверенным лицом фюрера и жаждет прибрать к рукам все разведывательные органы — гестапо, партии, министерства иностранных дел. Но фюрер никогда не позволит сосредоточить такую силу в руках одного человека. Гестапо — это партия, и ущемить гестапо — все равно что покушаться на всеислие самой национал-социалистской партии. И Папке как бы вскользь напомнил, что он нацист с 1934 года, но выскочки заняли все высокие посты, пока он честно служил рейху в Латвии. Его подбородок снова сморщился в комочек, а нижняя влажная губа обиженно отвисла.

Жадно выпив подряд несколько рюмок водки, Папке раскис, ослабел и, глядя осоловелыми, помутневшими от слез глазами на Вайса, рассказал, как его, старого наци, исполнительного служаку, недавно унизили.

Бывший его приятель, теперь штурмшарфюрер, приказал Папке взять на улице одного человека и отвезти туда, куда прикажут двое штатских, которых Папке принял за агентов гестапо. За городом штатские стали избивать этого человека резиновыми шлангами, для веса набитыми песком. Они требовали, чтобы человек подписал какую-то бумагу, а тот не соглашался.

Самому Папке никогда не приходилось никого пытаться. Но он видел, как пытали коммунистов в подвалах ульманисовского Централь-

ного политического управления. Он запомнил квалифицированные способы пыток и предложил применить к упрямцу один из них.

Это помогло, и человек подписал бумагу. Тогда штатские приказали Папке отвезти его туда, куда тот захочет, а сами ушли пешком.

Придя в себя после избиения и пыток, пассажир, подопечный Папке, стал яростно ругаться. И Папке понял, что имеет дело не с политическим преступником, а с коммерсантом — компаньоном тех двоих. И бумага, которую требовалось подписать, была просто коммерческим документом, и теперь, хотя этот человек вложил больше капитала в отобранный у поляков кожевенный завод, доля его прибыли будет меньшей. И он говорил, что донесет на Папке в гестапо за участие в шантаже.

Но когда Папке сказал штурмшарфюреру, что те двое штатских — авантюристы и обманули его, штурмшарфюрер притворился, что даже не понимает, о чем речь. А потом сделал вид, будто понял, и сказал, что Папке злоупотреблял своим положением в гестапо, польстившись на взятку, а за это полагается расстрел. Помня былую дружбу, штурмшарфюрер сам доносить на него не станет, но если коммерсант доберется до высших лиц, пусть Папке пеняет на себя.

Рассказывая, Папке не стесняясь плакал тяжелыми серыми слезами, губы его дрожали. Он твердил испуганно:

— Мне, старому наци, плюнули в душу. И я должен молча сносить это!

— А почему вам не сообщить в партию о поступке штурмшарфюрера?

Слезы Папке мгновенно высохли.

— Я же тебе говорил: гестапо — это партия. Партия — гестапо. Честь наци не позволит мне это сделать.

— Но штурмшарфюрер — плохой член партии, раз он берет взятки.

— Нет, Вайс, ты неправ, — покачал головой Папке. — Он просто умнее, чем я о нем думал. В конце концов, это одно из проявлений нашей способности возвышаться над моралью простодушных дураков, чтобы утвердить господство сильной личности. И, если хочешь знать, я готов преклониться перед штурмшарфюрером и горжусь, что он был когда-то моим другом.

Иоганн внимательно следил за выражением лица Папке, проверяя, появится ли на нем хотя бы тень притворства. Нет, унтерштурмбанфюрер был искренен в своем преклонении перед удачливостью бывшего приятеля.

«Какой же ты раб и мерзавец!» — подумал Иоганн и сказал:

— Вы, господин унтерштурмбанфюрер, для меня образец наци и преданности идеям.

— Оскар! Называй меня, пожалуйста, Оскар. Мне приятно, когда меня называют по имени, — жалобно попросил Папке. И чистосердечно признался: — В Латвии я чувствовал себя как-то увереннее на

земле. А здесь мне каждый шаг дается с трудом, как по льду хожу. — Вздохнул. — В Риге я знал не только, что у каждого немца в голове, но и что у него в тарелке. А здесь... — И сокрушенно развел руками. — Поляки — коварный народ: подсунули мне донос, — оказалось, наш агент. Такие сволочи! — Выпрямился, коричневые глазки блеснули. — Но ты не думай, что старый Оскар скис. Он еще себя покажет. У меня есть надежда выдвинуться на евреях. С ними проще. Предстоит крупная операция. Из уважения к моему партийному стажу обещали зачислить в группу... Но! — Папке угрожающе поднял палец.

— Будьте спокойны, — сказал Вайс и сделал такое движение, будто откусывает себе язык.

— Ну, а ты как?

Вайс уныло пожал плечами.

— Работаю на грузовой — и ничего больше.

— Возишь трофеи?

— Да.

— И нечем поживиться?

— Господин унтерштурмбанфюрер, я честный человек.

— Оскар, Оскар, — сердито напомнил Папке.

— Дорогой Оскар, — не очень уверенно произнося имя Папке, робко попросил Иоганн, — может, вашей группе понадобится хороший шофер — так я к вашим услугам.

— Хочешь заработать? — понимающе подмигнул Папке. — Им будет приказано явиться на пункт сбора только с ручной поклажей — не тряпье же они возьмут!

— Это естественно, — поддакнул Вайс. — Но я хлопочу не о том, у меня другая цель. Просто мое положение в гараже улучшится, если меня выделят для специальной операции. Знаете, на легковой машине легче работать: у каждого свой шеф. После того как я поработаю в вашей группе, Келлер поощрит, пожалуй, выдвинет меня. Он ведь тоже наци.

— Ладно, — пообещал Папке и протянул руку. Вайс признательно пожал ее. Потом Папке вынул из бумажника фотографию супруги и детей, прислонил к бутылке с вином и попросил Вайса подойти ближе. Указывая на фотографию, сказал: — Это мой рейх. И ради них старый Оскар готов на все, что прикажет ему фюрер. Давай выпьем за этих немцев, для которых Германией будет весь мир.

Он сильно перебрал в этот вечер, и Иоганн уговорил его остаться ночевать. Помогая Папке раздеться, он слушал его бессвязный лепет о том, что молодость безвозвратно прошла и в свои пятьдесят лет он носит чин, который сейчас имеют юнцы, что рано или поздно на службе он в чем-нибудь сорвется — и тогда фронт, смерть. И Папке скова плакал. И, уже раздетый, опустился на колени, обращаясь с молитвой к Всевышнему, чтобы тот не покидал его и наставлял в минуты сомнений и горестей.



Наутро одежда Папке была выглажена, вычищена, китель аккуратно висел на спинке стула.

Иоганн сказал, что все это сделала его хозяйка. Как он и предполагал, Папке постеснялся зайти попрощаться и поблагодарить фрау Дитмар за эту любезность. Улыбаясь, Иоганн рассказал Папке, что тот заснул не сразу: пытался спеть солдатскую песню, не очень пристойную.

Папке ушел на цыпочках. Когда он был уже в дверях, Иоганн напомнил о вчерашнем обещании.

Ночью ему пришлось как следует поработать утюгом и щеткой, чтобы с женской тщательностью вычистить костюм своего гостя. Но возиться стоило: на хлебном мякише Иоганн сделал оттиск гестаповского жетона с шифром и личным номером Папке. Записная книжка и обработка других документов заняли время почти до рассвета. Кое-что пригодится, и Иоганн был искренне благодарен Папке за то, что тот вспомнил о нем, навестил. Хороший парень Оскар, побольше бы таких! А вот фрау Дитмар была другого мнения и твердо заявила Вайсу, чтобы он не смел приводить в ее дом подобных невоспитанных господ, которые, уходя, не считают нужным даже попрощаться с хозяйкой дома.

## 8

К началу зимы в Лодзи усилились патрули военной полиции. Стало больше контрольных пунктов. Дороги часто перекрывались на несколько суток, и проезд по ним без специальных пропусков был запрещен.

Если несколько месяцев назад различные воинские части состояли из людей старших возрастов, недавно мобилизованных, то не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить теперь не только полное омоложение солдатского состава, но и то, что в Польшу прибыли матерые фронтовики, за плечами у которых было победоносное шествие по Дании, Норвегии, Франции, разгром английского экспедиционного корпуса — об этом свидетельствовали их значки, медали, ордена. Численное преобладание военнослужащих из моторизованных, танковых и авиационных подразделений также было совсем не трудно установить по петлицам, окантовкам, значкам на мундирах. Ежедневные прогулки по одной из центральных улиц для подсчета встречных военнослужащих и классификации их по роду; войск дали Иоганну возможность прийти к несомненному выводу: на территории Польши немцы сосредоточивают мощную ударную группировку.

Расформирование Центрального пункта по репатриации немецкого населения вызвало у личного состава автобазы тревогу и уныние. Многих уже отправили в строевые части, это же угрожало и Вайсу.



Система сугубой секретности передислокации войск действовала неотвратно и повсеместно.

Начальствующий состав специальных служб пребывал в штатском.

Танковые части передвигались только ночными маршами по запрещенным для всех видов транспорта дорогам. Над ними пролетали четырехмоторные транспортные самолеты «люфтваганзы» устаревших типов, чтобы своим шумом заглушить шум танков.

Во многих районах был объявлен якобы санитарный карантин, и эсэсовские патрули никого в них не впускали без пропусков, форма которых менялась каждые три дня. Нижние чины военной полиции, контрразведчики абвера, агенты гестапо после комендантского часа бесцеремонно проверяли документы у прохожих, даже у старших офицеров. Номерные знаки всех видов автотранспорта были заменены новыми. За любые внеслужебные разговоры, пусть даже касающиеся только личных взаимоотношений, военнослужащие беспощадно карались. В этих условиях старший писарь транспортной части решительно отказался от услуг Вайса.

Что касается Келлера, так тот настолько боялся попасть во фронтную часть, что с ненавистью смотрел на каждого еще не отчисленного из гаража шофера.

На Папке тоже нельзя было рассчитывать. Получив назначение в особую группу гестапо по приему еврейского населения, прибывающего в специальных эшелонах из оккупированных европейских государств, Папке с первых же шагов допустил ошибку. Он простодушно полагал, что раз евреев отправляют в концентрационные лагеря, так надо сразу дать им почувствовать, кто они такие и что их ждет.

Он не обратил внимания на то, как любезно гестаповцы на первых порах обходились с евреями: не гнушались брать под руки престарелых, чтобы помочь подняться по лесенке в кузов грузовика, трепали ласково по щекам детишек, желали всем доброго пути.

А Папке вел себя грубо, стремясь подчеркнуть перед сослуживцами свою ревностную приверженность идеологии наци.

И что же? После того как последняя машина с евреями ушла, гауптштурмфюрер подозвал Папке и, презрительно глядя холодными глазами в его потное лицо, крикнул:

— Дурак, свиная башка! — И приказал: — Повторить!

Папке отчислили из особой группы. И теперь он уже не в гестаповской форме и не в звании унтерштурмбанфюрера, а в обычной армейской, в чине унтер-офицера, шляется по дешевым пивным и заводит дружбу с солдатами. Но ведь на этом карьеры не сделаешь!

Папке был настолько удручен, что, забыв об осторожности, сказал Вайсу:

— Да, я грубый человек. Но я правдивый человек. И когда людей везут на смерть, я не могу притворяться, будто верю, что их везут на

курорт. — И добавил сердито: — Твой дурак Циммерман возит в лагерь банки с хорошеньким товаром...

— Что именно? — словно для того только, чтобы продолжить разговор, осведомился Вайс.

— Изделия «Фарбениндустри» — газ «циклон Б», роскошное средство для истребления мышей, тараканов и людей, — буркнул Папке.

Вайс заметил предостерегающе:

— Вы совершенно напрасно мне об этом сказали.

— Но ты же мой приятель.

— Все равно этого не следовало делать. — И Вайс повторил отчетливо: — Вы мне сказали, что газом «циклон Б» мы будем умерщвлять заключенных в концентрационных лагерях. Верно?

— Ну что ты! — испуганно прошептал Папке. — Зачем уж так?

— Нехорошо, — укоризненно сказал Вайс. — Нехорошо быть болтливым. — И попрощался с Папке, хотя тот хотел еще что-то объяснить, просить, чтобы Вайс забыл его слова. Но Вайс безжалостно покинул Папке, зная, что тот будет теперь стремиться быстрее встретиться вновь. И если положение Папке сейчас такое, что он не сможет помочь Вайсу избежать службы во фронтовой части, то, во всяком случае, теперь он на крючке, и Вайс так, за какой-нибудь пустяк, не отцепит его с этого крючка. И вместе с тем нельзя чересчур пугать Папке: напуганный, он донесет что-нибудь на Вайса или, еще проще, — пристрелит. Трусые от страха бывают способны на смелость. А вот если долго, осторожно, исподволь изводить Папке, может получиться что-нибудь полезное. Но где взять время для этого?

Сразу после того, как удалось устроиться здесь шофером, Иоганн послал во Львов открытку, купленную в армейской лавке: толстый карапуз сидит на горшке и пухлыми пальчиками зажимает себе нос.

«Дорогая Лизхен, — писал ночью на этой открытке Иоганн. — Я рад поздравить тебя с днем рождения. Пусть пребывает над вашей семьей Божье благословение. Твой Михель».

А потом в рюмке с чистой водой осторожно и бережно выполоскал кончик носового платка и, макая в эту воду оструганную спичку, мягко, чтобы не поцарапать поверхности бумаги, сообщил между строк шифром о себе и о том, что готов к приему радиопередач.

Фрау Дитмар часто страдала от мигрени и во время приступов не выносила шума. Поэтому она попросила Иоганна забрать к себе в комнату ее старенький двухламповый радиоприемник, с тем чтобы постоялец рассказывал ей по утрам за завтраком политические новости.

Через неделю после отправки открытки Вайс, блуждая настройкой по эфиру, услышал адресованные ему лично позывные — тоненькие, едва различимые и такие родные! После этого он систематически стал получать сообщения из Центра.

Искусство составлять максимально короткие, предельно четкие

сообщения, помимо литературных способностей их автора, как и всякое искусство, зависит от качества добытых сведений. Чем ценнее, значительнее содержание сообщения, тем емче оно укладывается в минимум слов. Некоторые великие открытия знаменитых разведчиков, добытые ценой терпеливого бесстрашного труда, на который ушли годы, отнятые у собственной жизни, укладывались в короткие строки цифровых знаков.

Подобно научному открытию, путь к которому — безустанный многолетний труд, подвиг, завершающийся краткой формулой — ее можно записать на папиросной коробке, хотя она несет революционное изменение целого направления какой-нибудь области человеческого познания, — подобно ему открытие разведчика, сообщение о котором иногда умещается на спичечном коробке, порой влияет на судьбы государств и народов.

Но как для всякой научной работы требуется бесчисленное множество фактов, их изучение, классификация, так и в разведывательном исследовании факты — материал, постепенный, сложный анализ которого приводит к синтезу — обобщению, равному открытию.

Период акклиматизации Вайса был подобен состоянию студента-практиканта, твердо зазубрившего формулы, но только на производстве увидевшего их воплощение в гигантские, могучие механизмы, многосложное действие которых столь далеко от умозрительного представления о них, полученного из учебников.

Можно потратить месяцы жизни на последовательное изучение предприятия, чтобы установить его мощности. Но можно по бросовой стружке из заводской лаборатории определить, на что нацелены эти мощности.

Анализ капли нового горючего или машинного масла может многое сказать о направлении научных изысканий, ведущихся в стране.

Но для того, чтобы установить ценность факта, его достоверность, отличить случайное от закономерного, для этого требуется ледяное спокойствие аналитического ума, разносторонние познания, полное отсутствие тщеславной самоуверенности и отважная способность в малом разглядеть большое, значительное, каким бы это малое на первый взгляд ни казалось незначительным, пустячным, не стоящим внимания.

Система охраны военной тайны была скрупулезно разработана отделами штаба вермахта и действовала всеобъемлюще. Она вобрала в себя все ценное из опыта Первой мировой войны. Рейхсвер отшлифовал ее до совершенства.

В свое время державы-победительницы раскинули в Германии высококвалифицированную шпионскую сеть, возглавляемую резидентами, обладающими мировой славой. И все же рейхсверу удалось многое скрыть от их недреманного ока. Этим он был обязан блистательной системе сохранения военной тайны и отлично вымуштро-

ванному личному составу, умеющему держать язык за зубами; каждый памятовал, что любая оплошность карается беспощадным приговором военного суда, мгновенно приводимым в исполнение.

Молниеносный разгром европейских армий и вершина немецкой стратегии — внезапный удар по всей линии Польша — Франция, — все это было не только упоительным торжеством гитлеровской военной машины, ее мощи, но и подтверждением несравненной способности армии, ее личного состава сохранять в тайне боевые приказы, подготовку к их осуществлению.

Каждая разбойничья победа над очередной страной-жертвой внушала гитлеровскому солдату сознание превосходства немецкой нации над европейскими народами, фанатическую веру в сверхчеловеческую способность Гитлера управлять судьбами мира, менять по своей воле течение истории. И даже матерые генштабисты, считавшие себя особой кастой, элитой, кичащиеся своим военным родовым аристократизмом, в конце концов склонились перед «гением» Гитлера, не однажды грубо и презрительно отвергавшего то, что казалось им неопровержимым. Гитлер угадал нетерпеливую жажду великих держав сделать Германию слепым орудием в их руках, нацелить ее для удара по Советскому Союзу. Он ловко эксплуатировал это положение вещей, шантажировал великие державы, шантажировал, как наемный убийца, выговаривая все большую цену. И он получил в качестве аванса страны Европы. А потом пырнул ножом в живот своих хозяев: сначала ранил Францию — почти смертельно, а потом Англию. Коварная политика фашистского государства, воплощенная в стратегии и тактике немецкой армии, требовала сохранения военных тайн, ибо на этом зиждились многие ее успехи.

Вермахт можно было уподобить хищному пресмыкающемуся, которое долго отлеживалось, казалось, охваченное сонным оцепенением, в кровавой жиже, оставшейся после Первой мировой войны, но при этом прожорливо пожирало и жизненные ресурсы страны и души людей. Постепенно оно покрывалось тяжелой металлической броней, ошетинилось оружием, а каждая клеточка его военного организма обрастала хорошо пригнанной чешуей, назначенной охранять, скрывать то, что нужно было скрыть.

Эта совершенная защита обеспечивалась гигантской контрразведывательной сетью и строжайшей, безотказно действующей дисциплиной всего личного состава. Дисциплина в свою очередь поддерживалась страхом жестокого наказания за малейшее нарушение уставных правил, дотошно предусматривающих любые возможности, щели, сквозь которые могут просочиться железно охраняемые сведения.

Все попытки Вайса завязать беседы с армейскими нижними чинами, проникнуть в расположение частей оканчивались неудачей. Шоферы автобазы в соответствии с приказом Келлера не имели права сообщать друг другу маршруты своих поездок. Помимо всего, маши-

ны, за исключением броневика Циммермана, использовались лишь в пределах города. Но Циммерман никогда не говорил о своей работе, и Иоганн ничего не знал о ней, кроме того, что машина Циммермана за сутки проходила иногда больше трехсот километров, — это легко можно было проверить по спидометру. Но как бы ни была непроницаема броня, скрывающая передислокацию немецких частей, Иоганн обязан был сквозь нее проникнуть. И проник. Как и все великие открытия, это оказалось до чрезвычайности просто.

Келлер в последнее время стал настолько пренебрегать Вайсом, что поручил ему вывозить на специальную мусоросжигалку за городом бумажный мусор из различных учреждений, подлежащий уничтожению.

Первые же поездки Вайса на мусоросжигалку дали ему то, что он так долго и тщательно искал. Он рассматривал обрывки иностранных газет, иллюстрированных журналов, старые накладные, внимательно изучал и классифицировал их. Они говорили о том, что из оккупированных немцами стран в Польшу прибыли немецкие штабные части.

Не пренебрегал Вайс и немецкой продукцией. По клочкам газет можно было установить, из каких районов Германии прибыли в Лодзь немецкие воинские части.

Он изучал мусор не менее увлеченно и вдохновенно, чем археолог свои находки.

Но скоро он утратил источник такой информации и очень сожалел об этом, сколь мало привлекательным он ни был: Келлер освободил его от перевозки мусора. Об этом Иоганн сообщил в конце очередного письма-шифровки, где излагал свои наблюдения о передислокации немецких частей, предварительно, с присущей ему тщательностью, проверив достоверность анализа сведений, добытых на мусоросжигательной станции, путем наблюдений за номерами появляющихся новых армейских машин в городе.

Когда Иоганн ехал на машине один, он никогда не отказывал в любезности подвезти кого-нибудь из армейских. За это с ним расплачивались болтовней.

Разве можно не оказать внимания своему парню, такому приветливому и услужливому, к тому же со дня на день собирающемуся уходить с маршевой ротой. Правда, он еще не нюхал фронта, но как он почтительно относился к фронтовикам, советуясь, в какую часть лучше пойти служить.

Танкистам Иоганн расхваливал авиацию, летчикам — танковые части.

В этих кратких, но пылких дискуссиях о преимуществах того или иного вида оружия Вайс черпал немало существенных сведений.

Однажды во время очередной облавы в городе Иоганн увидел

стоящего в нише ворот парня с бледным, как брынза, лицом. Парень озирался, держа правую руку в кармане.

Вайс остановил машину, снял запасное колесо, спустил воздух, поманил парня и, подавая ему насос, показал знаком, что он ему приказывает накачать скат. Парень послушался.

Подошел патруль. Вайс показал свои документы.

Патрульный спросил, кивая на парня:

— А этот с тобой?

Вайс, уклоняясь от прямого ответа, сказал неопределенно:

— Полковник вызвал машину, а мы вот опаздываем.

Патруль ушел.

Кончив накачивать воздух в камеру, парень вопросительно поглядел на Вайса, спросил по-немецки:

— Я могу уходить?

— Может, подвезти за твой труд?

Юноша заколебался, потом, решившись будто на что-то отчаянное, уселся рядом с Вайсом.

Долго ехали молча.

Наконец юноша не выдержал, спросил:

— Ты почему меня выручил?

— Это ты меня выручил, — сказал Иоганн, — накачал колесо.

— Странный немец.

— Чем?

— Да вот выручил, — упрямо повторил парень, — и везешь. Я же поляк.

— Вижу.

— Ты что, хороший немец?

— Что значит «хороший»?

— А вот из таких, — парень поднял руку со сжатым кулаком.

Вайс пожал плечами.

— Рот фронт! Не знаешь?

— Нет, — сказал Вайс.

— Так какого же черта ты меня выручил? — рассердился поляк.

— А где это ты видел таких немцев?

Лицо парня снова побелело:

— А ты, выходит, из гестаповцев, да? Притворялся, да? Поймал, да? — И поспешно сунул руку в правый карман.

Вайс не оборачиваясь посоветовал:

— Не горячись. Посчитай до десяти и подумай.

Дальше ехали снова молча.

— Я здесь сойду, — сказал парень. Открыл дверцу и вылез спиной к выходу.

Вайс наклонился.

— А деньги?

— Какие? — удивился парень.

— За проезд.

Парень вынул измятые злотые, сказал:

— Здесь на пачку сигарет тебе не хватит.

— Все равно давай, — строго сказал Вайс. Пряча деньги, сказал усмехаясь: — А ты думал, немец тебя даром повезет?

Развернул машину. Мелькнуло растерянное, удивленное лицо парня. Он робко помахал рукой. Вайс не ответил.

И хотя Иоганн здорово это придумал, взяв с парня деньги за проезд, все равно выручать его — это была вольность, на которую он не имел права.

«Плохо, товарищ Белов, — мысленно сказал себе Иоганн. Но тут же невольно подумал: — А ловко это получилось с камерой. Все немецкие шоферы так делают: заставляют любого польского прохожего качать ручку насоса. Вот и я заставил тоже...»

Но когда через несколько дней на улице пьяный немецкий солдат бил по щекам какую-то накрашенную женщину и та бросилась к Вайсу, умоляя защитит, Иоганн молча отстранил ее и прошел мимо. Вайс прошел мимо так равнодушно, будто это все происходило в потустороннем мире. После случая с парнем он еще долго относился к себе критически, «прорабатывал» себя. Он понимал: приметы советского человека, его нравственные особенности здесь столь же опасны и вредны, как жалость для хирурга. И он равнодушно прошел мимо избиваемой женщины, твердо зная, что его долг выше этих чувств.

Несколько дней Иоганн возил местного немца, фермера Ключе — члена фрейкора «пятой колонны» в Польше, функционеры которой совершали диверсии накануне гитлеровского вторжения, а потом выполняли роль гестаповских подручных.

Тяжеловесный, коротконогий, с мясистым лицом, страдающий одышкой, Ключе, узнав, что Вайс из Прибалтики, сказал с упреком:

— Таких парней следовало там держать до поры до времени, чтобы вы потом по нашему опыту устроили там хорошенькую поросью чью резню.

Вайс спросил:

— Вы считаете, у нас была бы такая возможность?

— Я думаю, так.

— Зачем же мы тогда оттуда уехали?

— Вот именно, зачем? — угрюмо сказал Ключе. И вдруг, ухмыльнувшись, утешил: — Ничего, парень, все впереди.

У Ключе на ферме работало несколько десятков военнопленных поляков и французов, но он взял подряд на доставку щебня для дорожного строительства и всех пленных загнал в каменоломню и в качестве надсмотрщиков приставил к ним сына и зятя. Теперь Ключе хлопотал о новых военнопленных для фермы, уверяя, что все его прежние поумирали от дизентерии.

Вайс спросил:

— А что вы будете делать зимой с таким количеством военнопленных?

Клюге сказал:

— Главным конкурентом человека в потреблении основных пищевых продуктов является свинья. А у меня одних производителей больше десятка, и четыре из них медалисты. — Спросил: — Понял?

— Нет, — сказал Иоганн.

— Ну, так понимай, что моим подопечным не выдержать такой конкуренции. Будет падеж — и все.

— Свиной?

— Ладно, не притворяйся, — усмехнулся Клюге и деловито добавил: — Другие получше устраиваются, у кого хозяйство ближе к лагерям. На работу их к ним гоняют, а кормежка в лагере. Будешь хозяином, сынок, учись. — Добавил, помолчав: — В Первую мировую у моего отца русские пленные работали. Тощие, сухие, но жилистые, — опасаться их приходилось, — у отца ухо один лопатой так и срубил.

— Одно только ухо? — спросил Вайс.

— Одно.

— Значит, промахнулся, — сказал Вайс.

— Правильно, — сказал Клюге. — Промахнулся. — Задумался, произнес, поеживаясь: — Если русские у меня будут, — без пистолета даже к лежащему подходить нельзя. Может за ногу схватить. Это я знаю.

— Вы что же, и на русских пленных рассчитываете?

— Раз война, — значит, и пленные.

— А будет?

Клюге пожал плечами и в свою очередь спросил:

— А почему, по-твоему, столько в генерал-губернаторстве новых войск?..

Келлер сказал Вайсу, чтобы тот завтра в два часа прекратил обслуживать Клюге.

На следующее утро Иоганн возил Клюге по разным учреждениям. Потом Клюге приказал везти его в поместье. Ровно до двух часов Иоганн вел машину по раскисшей от дождя проселочной дороге. В два часа остановил машину, распахнул дверцу, объявил:

— Господин Клюге, время вашего пользования машиной кончилось.

Вайс открыл багажник, вынул из него чемодан Клюге, поставил на землю. То же самое проделал с вещами, находящимися в кабине.

Клюге сказал:

— Мне же еще пятьдесят два километра ехать, я заплачу. Нельзя бросать посреди дороги почтенного человека.

Вайс сказал:

— Выходите.

— Я не выйду.



Вайс развернул машину и погнал ее в обратном направлении.

— Но у меня там на дороге остались вещи!

Вайс молчал.

— Остановись!

Вайс затормозил машину.

Клюге копался у себя в бумажнике, потом стал совать Иоганну деньги.

Иоганн оттолкнул его руку.

— Ну хорошо, — сказал Клюге, — хорошо! Тебе это даром не пройдет.

Он вылез из машины и побрел, увязая в грязи, обратно к вещам.

Вернувшись в гараж, Вайс доложил Келлеру, что Клюге хотел задержать машину.

Келлер сказал:

— Приказ есть приказ. Ты должен был его высадить в два ноль-ноль, даже если бы это было посередине лужи.

— Я так и сделал, — сказал Вайс.

У него было ощущение, будто все эти дни он возил в машине какое-то грязное животное.

Вайс вытряхнул чехлы с сидений. Ему казалось, что в машине воняет.

Непрерывная десяти-, а то и двенадцатичасовая работа изнуряла даже самых крепких шоферов. Иоганн должен был обладать таким запасом физических и нервных сил, чтобы, закончив работу в гараже, отдать их главному своему делу, требующему величайшей сосредоточенности, сообразительности, самообладания.

Человек порой не замечает, как, отравленный усталостью, он утрачивает какую-то дозу чуткости, теряет ничтожные мгновения, необходимые для того, чтобы молниеносно найти решение в непредвиденной ситуации. Можно силой воли преодолеть усталость, но как узнать, не затормаживает ли утомление твое сознание, вынужденное беспрестанно воздействовать на твое подлинное «я» и на твое второе «я», принявшее облик шофера Иоганна Вайса? Тем более что из сочетания этого двойного мышления требовалось выработать то единственное, которое отвечает твоим целям, твоему долгу.

В последние дни усталость, нервная, душевная, физическая, то вытесняла из него Иоганна Вайса, то — и это приносило большое удовлетворение — он полностью ощущал себя Иоганном Вайсом, у которого ничего нет позади, кроме воспоминаний о другом мире, где он некогда обитал. Вместе с тем чрезмерная нагрузка и вызванная ею усталость помогали ему перебарывать тоску по Родине, спать без сновидений, не предаваться воспоминаниям, обжигающим душу. Лишь однажды он поймал себя на том, что плакал ночью, когда ему приснились руки отца, пахнувшие железными опилками.